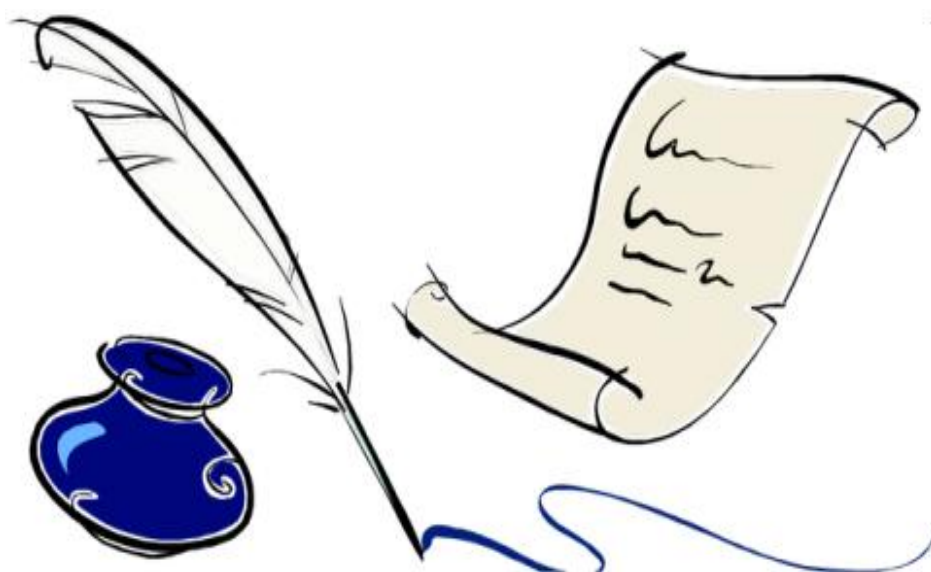


МКУК «Шумихинская центральная районная библиотека»
Информационно-методический отдел

А сердце помнит... :

**Литературное наследие
Осетрова Сергея Даниловича**



г. Шумиха, 2017

Содержание

Осетров Сергей Данилович 3

По материалам Шумихинской районной газеты «Знамя труда»

Стихотворения и Басни

Карась-критикан (Басня)	4
Весна идет	4
Гласность (Басня)	5
Осторожный карась (Басня)	6
Сорочья забота	6
Позиция бюрократа	6
Моралист	6
Сердце молодое	7
Сестра	7

Рассказы

Нам было девятнадцать	8
Подранок	10
Где ты мама?	14
Неизлечимая болезнь	17
В гостях у прошлого	19

Из семейного архива Осетрова Сергея Даниловича

Стихотворения

Под серой солдатской шинелью	27
Детище народа	27
В пустынях Африки блуждая	28
Солдатские думы	28

Рассказы

На улицах Братиславы	29
«...А сердце помнит...»	40

Осетров Сергей Данилович



Сергей Данилович – участник Сталинградской битвы, кавалер боевых и трудовых наград, Отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда.

Родился он в крестьянской семье в деревне М.-Арлагуль Лебяжьевского района в 1923 году. У него было суровое детство – тяжелый труд, нужда...

Немало слез и лишений выпало на его долю. В голодный 1933 год, чтобы не умереть с голоду и помочь родителям он брался за любую работу и даже просил милостыню...

А юность опалила войной. В 1942 году молодой солдат был призван на фронт. С октября этого года и до окончания войны он сражался в составе Донского, 2 и 3 Украинских фронтов. От окопов Сталинграда до родных рубежей гнал он врага с нашей земли. Воевал на улицах Братиславы, брал Будапешт и Прагу, освобождал Румынию, Югославию, Австрию.

За смелость был переброшен в контрразведку армии в подразделение «СМЕРШ» (Смерть шпионам), а это очень нелегкий участок, когда в тылу врага ловили и обезвреживали фашистских лазутчиков.

В августе 1945 года Сергей Данилович Осетров был отправлен на Забайкальский фронт, чтобы сражаться уже с Японией. Там и закончилась для него война, там он встретил Победу.

После демобилизации в апреле 1947 года бывший солдат избрал себе очень мирную профессию. Экстерном сдал экзамены и в 1948 году получил диплом об окончании Ачинского педучилища Читинской области. Работал учителем в Иркутской и Читинской областях, а в 1951 году вернулся в Курганскую область. Проработав год секретарем парткома совхоза «8 Марта» Мишкинского района, он понял, что партийная деятельность – не его призвание. И возвратился в школу. Трудился директором Сосновской семилетней школы, а с 1962 года работал в Шумихинском районе. Был директором Галкинской школы, Шумихинской школы №4, в течение 8 лет возглавлял районный отдел народного образования в Шумихе. Вел большую общественную работу, активно участвовал в деятельности рачонной организации общества «Знание». По его инициативе были построены дома для учителей в Галкинской школе, в Шумихе – для работников школы-интерната. Будучи заведующим РОНО именно он добился строительства новой (ныне 3-й) школы.

Созидатель по натуре, он строил, обновлял. И всегда брал на себя самое трудное, не перекладывая ни на кого тяжкий крест руководителя и воспитателя. В Галкинской школе он построил производственный лагерь возле трех озерков, куда ребята выезжали работать.

А как только начиналась весна, Сергея Даниловича можно было практически каждый день видеть в Березовском летнем лагере. Он

ремонтировал его, изыскивал средства, стучался в двери предприятий. Зато летом лагерь в Березово оглашался веселыми детскими голосами. Со всего района отдыхали в нем ребята...

Сергей Данилович увлекался литературной деятельностью. Писал рассказы, очерки, стихи, басни. Его произведения печатались в районной и областной прессе, звучали в эфире Курганского радио. Им написано немало рассказов и очерков о войне, он стал лауреатом конкурсов газеты «Знамя труда» «Летопись Великой Отечественной», посвященных 41 и 42 годовщинам Победы.

*Из статьи Юлии Кондратовой (внучки С. Д. Осетрова).
// Знамя труда. – 2013. – 22 февраля.*

По материалам Шумихинской районной газеты «Знамя труда»

Стихотворения и Басни

Карась-критикан (Басня)

// Знамя труда. – 1985. – 14 декабря.

Карась на совещаниях в речах
Критиковал за лень и ожиренье
И окуня, и карпа, и леща,
И прочее речное население.
А сам, едва закончив речь,
Спешил он в омуте укрыться,
На дно речное чтоб прилечь,
Поглубже в ил зарыться.

* * *

Тем, кто пытается других
критиковать,
О самокритике не надо забывать.

* * *

Весна идет

// Знамя труда. – 1988. – 19 марта.

Светит солнце ярко,
И звенит капель.
За спиною марта
Топчется апрель.
Но зима встряхнула

Полог вьюжный свой,
Раз еще дохнула
Холодом, пургой.
А солнце утром встало,
Распрямив лучи,
И как не бывало
Холода ночи.
Ручейки запели,
Тает снег и лед.
Кончились метели.
Вновь весна идет.

* * *

Гласность (Басня)

// Знамя труда. – 1989. – 17 июня.

Гласность – это не только то,
Чтоб в низменных пороках
И смердящих язвах
Прошлого рыться,
Осуждая через годы тех, кто
На крутых поворотах
Нашей истории беспримерной
В личном культе
И амбициях завязли.
Гласность сегодня
Это риф барьерный,
Непреодолимый, надежный,
О который разобьются –
Кто полуправдой и ложью
Попытается укрыться
От просчетов и огрехов,
От широкого обсужденья
Забот и дел повседневных,
Припудривая их
Мнимым успехом.
Гласность – активности
Народной пробужденья!
О гласности делегаты
На партийном форуме
Сказали как отрезали,
Чтоб никакие «голоса»
С советами и поученьями
К нам не лезли бы.

Мы сами разберемся
Со всеми делами в стране!

* * *

Осторожный карась (Басня)

Я подожду пока из омута вылезать:
Сетей кругом еще немало,
Лишь стоит плавники расправить –
Запрыгаешь на сковородке. Так бывало.

* * *

Сорочья забота

Мне надо новую программу,
Чтоб без умолку стрекотать
О перестройке. С шумом, гамом
И с призывом по лесу летать.

* * *

Позиция бюрократа

Лишь вносишь предложенья и советы,
Чтоб что-то изменить, исправить нам,
Он тут же выступит с ответом:
– «Ты предложил – ты делай сам».

* * *

Моралист

Петух кричал: – «Кукареку! –
Главе семейства Гусаку, –
Я вас к ответу привлеку!
Ведь с вас спросить пора
За нравственное разложение!»
А куриц сам с соседнего двора
Скликал живехонько к себе,
Как будто зернышко в земле
Нашел и приглашал на угощение.

* * *

Сердце молодое

// Знамя труда. – 1989. – 22 июня.

Под серой солдатской шинелью,
Затянутой жестким ремнем,
Порой веселую трелью
Сердце поет соловьем.

Нежные чувства волнуют,
Нарушив душевный покой,
Но, солдатскую радость минуя,
Приходят страдания и боль.

О юность, летят твои годы!
В душе каменеет любовь.
И если пройду через битвы, невзгоды,
Проснешься ли в сердце ты вновь?

1943 год.

* * *

Сестра

А бой гремел, осколки били градом.
Я не кричал, хоть боль была остра.
Здесь, под огнем, со смертью наглой рядом
Была в окопе наша медсестра.
Потом как мать она ко мне склонялась.
Я обретал в надежде разум, жизнь.
Она порой по суткам не сменялась,
Шептала часто ласково: «Держись...»
В своей руке держал ее я руку.
От взгляда гордо прятал в сердце боль.
Душой она воспринимала муку.
Была в тот час похожа на Ассоль.
Всегда была приветливой и нежной,
В страданиях пережившая мой страх,
И улыбалась в трудный миг как прежде
Уставшая от мук моих сестра.

Рассказы

Нам было девятнадцать

// Знамя труда. – 1985. – 19 ноября.

Октябрь 1942 года. Холод, дождь, грязь. Немцы все еще предпринимают отчаянные, но безуспешные усилия захватить Сталинград и прорваться к Волге.

Полки нашей 252 стрелковой дивизии прибыли с Урала и были направлены на северный участок фронта. Ранним утром подразделения занимали позиции, пройдя по раскисшей дороге километров тридцать.

В километре или чуть-чуть ближе через морозящую серость дождя проглядывала высота. На ее склоне – немецкая оборона, а у подножья метрах в трехстах от высоты – наши окопы. Вправо и влево чернеют подбитые танки. Сквозь дождь и утреннюю мглу проступало десятка два изуродованных немецких машин, среди них четыре – пять наших. Видно, жаркими были бои, вынудившие немцев перейти к обороне.

Я, да и не только я, все, кто первый раз приближался к передовой, слышав свист летящего снаряда или мины, бросались на землю. А они проносились мимо и рвались далеко позади или в стороне. Это потом научились определять перелет или недолет. А в этот первый день казалось каждый снаряд накроет. Шли быстро. Мокрые шинели стали еще и грязными.

Мне и еще трем солдатам командир взвода приказал расположиться под танком с разорванной гусеницей, непрерывно наблюдать за немецкими позициями и вести огонь, если покажется противник.

Под танком был окоп, но для четверых он оказался слишком мал. Пришлось копать сбоку от танка еще один и соединять их.

Офицеров вызвали к командиру батальона.

– Будем брать высоту, – сказал, возвратившись, командир взвода. Начало атаки в одиннадцать после артиллерийской подготовки.

Еще на высоте гремели разрывы, как раздалась команда:

– В атаку! Вперед! Повыскакивали из окопов и перебежками устремились вперед. Немцы сначала не стреляли. А когда мы отбежали метров шестьдесят – семьдесят, открыли очень плотный огонь. Пули свистят. Мины и снаряды рвутся. Грохот и свист сверлит уши. И в этот первый раз сближения с врагом и потом не раз, не страх за жизнь об этом не думалось, притуплял сознание опасности. Наступало какое-то безразличие к себе. Только инстинкт самосохранения бросал тело на землю. И хотя она, мокрая и раскисшая, но, прижимаясь к ней, казалось, набираешься сил. А воля, подчиняясь призыву и примеру товарищей, напрягаясь от жгучей ненависти к врагу, движет тело вперед, и бежишь с теми, кто еще поднимается.

Не удалось наше наступление в первый день. С потерями вернулись на свои позиции. И на второй не могли преодолеть больше половины ничейной земли. Вечером заместитель командира роты по политчасти старший

лейтенант Гуренко еще раз рассказал, как необходимо взять высоту. За ней километрах в трех железная дорога, по ней немцы подвозят войска и снаряжение к Сталинграду.

И вот под покровом темноты стремительная атака, и высота наша! За ее гребнем блиндажи, ровики для боеприпасов, ходы, сообщения. Было приказано занять оборону и быть готовым к отражению контратаки.

Перед рассветом началась стрельба. Мы трое были в небольшом блиндаже. Выскочили. Метрах в сорока – немцы. Когда вспыхивали ракеты, поблескивали надвинутые на глаза каски и короткие автоматы в руках. Они бежали и стреляли на ходу. Трассирующие пули рассекали темноту, и казалось, что блестящие нити опутывают нас. Очень красиво, если бы не смертельно опасно.

Заговорили два наших ручных пулемета. Захлопали винтовочные выстрелы.

– Гранатами их, гадов! – сквозь выстрелы крикнул командир взвода. Загрохотали разрывы, среди них – и двух моих гранат.

И немцы не выдержали, побежали назад, оставив в грязи трупы убитых. Но и у нас гранат не осталось, да и патроны были на исходе. Если атака возобновится – не выдержать.

Но тут в окоп прыгнул солдат с катушкой телефонного провода и аппаратом, за ним младший лейтенант-артиллерист.

– Артиллерия подроспела, – сказал сосед, – сейчас живем!

Через несколько минут началась перестрелка. Снаряды плотно ложились на немецких позициях. А уже через час мы преследовали отступающего врага и перерезали железную дорогу. Бой был выигран. Приказ командования выполнен. И мы, молодые солдаты, обрели уверенность и боевой опыт.

Только за эти дни многих недосчитались. Погиб командир полка майор Чмырь. Убит мой товарищ Петя Араксин. Мы были из одной деревни и вместе призывались в марте 1942 года. Курганских парней 1923 года рождения было не мало в полку, но осталось немного. Были ранены Иван Гуляев и Петр Воротынцев из Мокроусово, а Сараеву из Петухово перебило обе ноги.

Нам было тогда только по девятнадцать.

Через несколько дней дивизию сняли с этого участка фронта и перебросили южнее, в район станицы Клетской, пополнив на привалах по дороге поредевшие в боях роты.

19 ноября началось наступление войск Юго-Западного фронта, а полки нашей дивизии заняли важный опорный пункт немцев – хутор Вертячий. Немецкая оборона была разорвана.

Наступил новый этап в Сталинградской битве, а вернее – во всей Великой Отечественной войне: окружение 330-тысячной армии врага и сжатие огненного кольца.

* * *

Подранок

// Знамя труда. – 1988. – 11 февраля.

Валерка не сказать, что боялся. Чего ему бояться? Милиция? Ну и что? «Убегу. Выберу время – и убегу. Не укараулят! Отправят обратно? Ну и пусть. Опять убегу. Я же сказал воспитательнице, что не буду жить в этом интернате. Силой будут держать? Не удержат. Права такого нет», – рассудил Валерка и поднял глаза.

За столом сидела женщина в милицейской форме. На плечах погоны капитана. Приглядываясь к мальчику, спросила:

– Ну, что там у вас?

– Вот, Валентина Петровна, – указал на мальчика милиционер. – Задержали. Поехал, а куда – не говорит, зачем – тоже скрывает, откуда, кто такой – молчит.

Валерка глядел в сторону и швыркал носом. На вопросы решил не отвечать. «Что рассказывать? – думал он. – Про мамку? Что папки нет? Про дяденек, тетенок? Про бутылки, песни, крики, ругань? Или как пришел из школы, увидел, что мама сидит на кровати, с распущенными волосами, в расстегнутой кофте, а рядом волосатый дяденька? Она тогда же головы не подняла, а дяденька встал, подошел, повернул к двери и вытолкнул, хрипло пробормотав: «Иди, иди, потом появишься». А мама сидела и молчала. Я так есть хотел... Вечером пришел – мама спала, дяденьки не было. В грязных тарелках объедки да окурки. Булка хлеба на столе, залитая, общипанная, обломанная, будто ее рвали на части, отбирая друг у друга. Нет, такого не рассказать! Стыдно и себя жалко...»

Валерка вспомнил тетю Клаву, соседку. Она как-то остановила и спросила:

– Мать-то дома?

– Не знаю...

– Ты дома разве не был?

– Не...

– Мать опять, небось, пирует? Так голодный и ходишь целый день? О, господи! Несчастнуля ты, несчастнуля! Иди, я тебя покормлю... Грязный, обросший, одни кости.

Стыдно Валерке за себя и за мать. Он отрицательно замотал головой, но тетя Клава взяла его за руку, повела в дом, усадила за стол, хотя он и упирался, как маленький козлик. Какой был вкусный борщ! Отродясь такого не едал. Хлебал, а тетя Клава подливала, смотрела на него и вздыхала, а когда, насытившись, встал из-за стола, она стащила с него рубашку:

– Побегай в майке. Я постираю. На солнце быстро высохнет...

...Валерка почувствовал, как голоден, а горькие мысли до боли сжали сердце, в носу прибавилось мокра. Он вытер его кулаком и отвернулся к окну.

Валентина Петровна разглядывала черные от загара и забывшие мыло Валеркины руки, куртку на одной пуговице и выбившуюся из-под нее

рубашку, грязные брюки с пузырями на коленках, волосы, как грачиное гнездо на голове, свисавшие на висках, сосульками торчавшие на воротничке куртки.

Валерка не очень дружелюбно поглядывал на милиционера, да опасливо на капитана. Он злился. «Надо же было так попасться! Где бы сейчас ехал!».

– Он один был? Вещи какие были? – спросила Валентина Петровна, изучающе глядя на мальчика.

– Один, без вещей.

– Сбежать пытался?

– Да нет. Некуда было бежать. Он только поднялся на площадку вагона, и я тут погодился. Вижу, парень куда-то поехал. Пришлось спросить. Только он не захотел со мной говорить.

– Можете идти, – сказала милиционеру Валентина Петровна, раздумывая, как начать разговор. По опыту знала, что не говорят правды задержанные мальчишки при первой беседе.

– Как тебя зовут? – тихо спросила она.

Валерка поднял голову, из-под прикрытого волосами лба посмотрела на Валентину Петровну и отвернулся.

– Я тебя спрашиваю. У тебя есть имя? Как к тебе обращаться? – повторила она уже настойчивее и строже.

– Валерка, – ответил он угрюмо, не глядя на нее.

– А фамилия?

– Яшин. – Сказал и спохватился: не хотел ведь говорить. И плотно сжал зубы, словно отсекая путь словам.

– Ну ладно, Валера. Пойдем.

Она встала, вышла из-за стола.

– Сначала надо пообедать. Ты хочешь есть?

Валерка промолчал, только сглотнул появившуюся вдруг во рту слюну.

Они вышли на улицу. «Может убежать? – подумал Валерка, даже о голоде позабыв. – Успею. Только бы не отправили обратно в интернат... А вдруг узнают и отправят? Сообщат туда, приедет воспитатель и заберет... Не расскажу – не узнают».

– Не отставай. – Валентина Петровна шагала быстро, не оглядывалась, словно была уверена, что он не убежит. Это удивляло Валерку и удерживало от шага в сторону.

...В интернате Валерка особенно ничем не увлекался. Ребята занимались в мастерской, спортзале, в кружках и спортсекциях. Он на это смотрел равнодушно. А дома, еще до интерната, целые дни проводил на выпасах или на ферме. Нравилось быть около животных, что-то делать для них. Они такие молчаливо-благодарные. А в интернате что? В столовой дежурить да территорию убирать. Учился он без интереса. Только передачи по телевидению «В мире животных» смотрел, затаив дыхание, и книжки про животных любил читать. Воспитатель Ирина Михайловна говорила:

– Тебя, Валера, как подрастешь, в колхоз отправим. Там твое место.

Ребята смеялись, а ему было неприятно.

А тот случай весь интернат взбудоражил. Валерка всю ночь тогда проплакал. Как хотел он где-нибудь подкараулить Ирину Михайловну и сделать ей больно, или хотя бы нагрубить и посмеяться в глаза. Он вспомнил ее брезгливое лицо, визгливый крик и цепкие руки. В нем все закипело от ненависти и бессилия...

Он даже остановился.

Валентина Петровна почувствовала его задержку, обернулась:

– Ты что? У меня времени нет. Не отставай...

Валерка торопливо глотал обед и изредка поглядывал на капитана. «Не спрашивает... Знает, что ничего не скажу... Вот убегу к тете Клаве. Буду ей по хозяйству помогать. У нее корова есть, гуси, собака Джек. Только не любит, чтоб играли с ним, ворчит. А хорошо бы с ним по улице походить. Ребятишки от зависти с ума посходили бы... Нет, не пойдешь... Вырвется, убежит, искусать может...»

Валерка очень любит собак! Других животных тоже любит, подкармливает. Пока Гнедого не продали, он каждый день ходил помогать дяде Коле – конюху интерната. Дядя Коля верхом его усаживал и разрешал кататься по двору, даже рысью ездить. Валерка гриву Гнедому расчесывал, чистил, купал его в речке. Потом директор продал Гнедого и купил мотороллер. Мотороллер тоже хорошо, но лошадь лучше: живая, умная все понимает. Кусочки хлеба, сахара Гнедой брал бархатными губами и кивал головой, будто благодарил. Он даже тихо ржал, когда Валерка приходил. Валерка дотягивался до его головы и прижимался к ней щекой... Жаль Гнедого!

Валерка положил ложку и вздохнул. Вспомнил Шарика. Черный, с белыми лапками и таким же белым пятнышком на лбу. Как звездочка оно светилось в темноте. Он уже знал свое имя и за Валеркой бегал. А если Валерка брал его на руки, радостно скулил, прижимал лапки и тянул мордочку к его лицу, словно хотел объясниться в собачьей преданности и любви. Валерка как наяву увидел его доверчивые круглые глаза, красный язычок, которым он всегда пытался лизнуть Валеркины губы, нос, щеки. А в ушах вдруг возник дикий визг и скулящий вой. Казалось, Шарик плакал горькими собачьими слезами отчаяния и звал, звал Валерку помочь ему...

– Валера, ты почему перестал есть? – Голос Валентины Петровны донесся как откуда-то из-под земли.

– Наелся? Может, еще что заказать?

– Спасибо. Больше не хочу.

– Тогда пойдем.

И они вернулись в помещение детской комнаты.

– Если хочешь, рассказывай, почему убежал из Заозерного интерната, – как то между прочим сказала Валентина Петровна, усаживаясь за столом.

– Не хочешь – посиди, подумай, потом расскажешь.

Валерка растерялся и испуганно смотрел на капитана. «Сообщили... Теперь обратно отправят. Надо было убежать, когда в столовую ходили».

– Как вы узнали, что я из Заозерного?

- Узнала. Скажи, мать-то где?
- В тюрьме, – прошептал Валерка.
- А отец? Есть отец?

Валерка отрицательно покачал головой и спрятал глаза. На лицо набежала тень, оно посерело и застыло, словно на него натянули маску.

– Почему убежал? Разве плохо в интернате? – участливо спросила Валентина Петровна и пододвинулась ближе. – Расскажи.

– Расскажи, расскажи, – взорвался в крике Валерка. – Что рассказывать? Сами пожили бы!

- Тебя обижали?
- Не обижали, запрещали все.
- Что запрещали? Режим не давали нарушать? Это правильно.
- Не режим, а все. У меня маленькая собачка Шарик была...

– Собачка – хорошо, но разве это все? Надо учиться, полезным делом заниматься. У вас огород есть, наверное, ферма: кролики или другие животные?

– Огород... – Валерка скривил губы. – Каждая грядка на десять человек. Это не рви, это не трогай. Если бы в поле, да на лошадях. А кролики, ферма... Нет кроликов, ничего нет. У меня Шарика отобрали. Убили.

Последние слова Валерка произнес шепотом, еле шевеля губами. Он не мог унять дрожь, а тут еще эти слезы. Он рукавами куртки вытер глаза и отвернулся.

Валентина Петровна сердцем чувствовала, что мальчик изранен жизненными неурядицами. Через нее прошли сотни таких обиженных судьбой детей, оказавшихся без поддержки и помощи родных, внимания и участия окружающих взрослых. Кто согреет их озябшие души? Кто вернет радость детства, самой счастливой поры человеческой жизни? И Валерка обворован пьянством опустившейся матери да ущербным положением безотцовщины. Нет у него того, что каждому человеку от роду должно иметь: родного дома, радости, любви родителей.

– Почему у тебя Шарика отобрали? – тихо спросила она.

– Директор приказал. Сказал, что собаки заразу растаскивают. А маленький щенок притащил бы? Он играть любил. Я как узнал про приказ, хотел во дворе где-нибудь спрятать. Поташил его, а Ирина Михайловна задержала меня, чтоб отнять собачку. Я не давал. Она ухватила за ножку. А руки у нее как клещи. Шарик выл жалобно, а Ирина Михайловна вырывала и кричала на меня. Он кусал ей руки, скулил, лаял, смотрел на меня, как помощи просил. Я побоялся, что Ирина Михайловна выдернет ему ножку и отпустил. Она убежала с ним.

– А куда она дела его?

– Живодеру отнесла.

– Кому, кому? – удивленно переспросила Валентина Петровна.

– Живодеру. Это у нас дядю Прохора – кочегара так зовут. Он всех щенят и собак душит, шкурки сдирает.

– Ты неправду, Валера, говоришь. Такого не может быть.

– Правду. Честное слово, правду! Живодер убил Шарика и шкурку содрал, – голос мальчика задрожал. – Она такая гладкая и волосики блестящие... Мне жалко Шарика. Ему так больно было...

Валерка горько-горько навзрыд заплакал, опустил голову на согнутые руки.

Валентина Петровна погладила его по голове, а сама сглотнула подкатившийся к горлу комок. Жалость к ребенку и ей затуманила глаза, взволновала до глубины души.

– Не плачь, Валера, не плачь. Все образуется. Ты еще встретишь добрых людей. Их много на нашей земле, гораздо больше, чем злых. Они помогут тебе пережить все беды и печали.

Она сняла трубку красного телефонного аппарата и набрала номер отдела народного образования...

* * *

Где ты, мама?

// Знамя труда. – 1989. – 26 августа.

Шестилетки в интернате играют шумно, смеются весело и громко, раскатисто и заразительно. А заплачут, то слезно, никаким уговорам не поддаются, будто они только добавляют обиды, и оттого еще неутешнее плачут, прерывая всхлипы протяжным душераздирающими возгласами: «Ма-а-ма!». И сколько тоски, печали и боли в этом отчаянном крике, что в груди холодеет, сердце щиплет, душа стынет.

Чаще других плачет Света Найденова, маленькая девочка со стриженной головкой, всегда красными от слез глазами и распухшим носом. Уж около года она живет в интернате, а ребят сторонится, ни с кем не дружит, всегда молчалива. В глазах нетерпеливое ожидание и грусть, печаль и скрытая надежда на обретение радости. Просто беда со Светой: заберется куда-нибудь в темный уголок, наплачется, порой и уснет там.

В группе шестилеток много игрушек, а Света играет только с куклой Катей, даже спит с ней. Когда никто не слышит, обращается к ней, ласково убеждая:

– Катенька, милая! Твоя мама Света любит тебя, никогда, никогда не бросит и в интернат не отправит. Она всегда с тобой будет.

Мать свою Света помнит как-то отрывками. И видит ее, и не видит. Черты лица сливаются в мягкое расплывчатое пятно. Только во сне чувствует прикосновение сухих, горячих, шероховатых губ. Они будто прикасаются к щекам, обжигая горячими поцелуями, да ласковые руки с узловатыми пальцами гладят по голове и прижимают к родной материнской груди.

Света помнила, что мать часто куда-то исчезала и по нескольку дней не показывалась дома. А когда приходила, от нее пахло водкой. Темнобурое лицо, испещренное морщинами, с темным ожерельем под глазами было чужим, холодным и неузнаваемым.. она не замечала Свету. Только

старенькая бабушка, обнимая внучку, вздыхала, ругалась, плакала. Отца Света не знала и ни разу не видела.

Старшие девочки говорили, что ее маму где-то лечат, что ее лишили прав и Света теперь не ее дочь.

«Как же не ее, если она моя мама?» – старалась понять девочка.

Разве можно лишит матери?

Когда в интернат приезжала бабушка, она спрашивала о ней. Старушка обнимала Свету, успокаивала как могла, отвлекала другими разговорами. Света догадывалась, что бабушка все знает, но сказать не хочет, только еще больше ласкает и целует.

В тот день воспитательница Вера Ивановна с ног сбилась в поисках Светы. Она опять куда-то уединилась.

А началось все в столовой. Света в окно увидела, как встречались Люся Ветрова с мамой, как Люсина мама обнимала дочь, поправляла платице, волосы, говорила что-то ласково.

Света смотрела, смотрела на них, глаза у нее распахнулись, как крылья у спугнутой птицы, наполнились слезами. Она бросила на стол ложку и убежала.

Вера Ивановна обошла все потайные места, где обычно пряталась Света. Спрашивала у нянечек, воспитателей, у ребят. Но никто не видел ее.

«Уж не убежала ли искать свою маму?» – подумала в тревоге воспитательница.

А мать, похоже не испытывала ни жалости, ни любви к своей дочери. За весь год не написала ни одного письма, не проявила интереса – как живет ее ребенок, что чувствует, как у него здоровье.

Говорят, зайчихи своих новорожденных раз накормят, и бросают, убегая по своим заячьим делам. А малыши ждут, когда их покормит случайно наткнувшаяся другая зайчиха, если это правда. У людей не должно быть так...

Несмотря на запрет, Света пробралась в спальную комнату, уселась на широком подоконнике, поджав колени к самому подбородку, и дала волю слезам, смахивая их обеими руками и размазывая по лицу, изредка бросая взгляд на прилегающую улицу, когда на ней появлялись прохожие.

Вдруг Света прилипла к окну. Она, не мигая, следила за проходившей по улице женщиной. Вокруг нее на резвых ножках прыгала девочка, Светина ровесница, в коротеньком платице, белых носочках. Она как голубок склоняла головку и лукаво поглядывала на женщину, заливаясь колокольчиком беззаботного детского смеха. Обе не обращали внимания на окружающее, радовались и восхищались друг другом.

У Светы так забило сердце от зависти, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Как ей хотелось броситься на улицу и так же весело и радостно прыгать вокруг матери.

Женщина и девочка прошли мимо, а Света навзрыд заплакала, выговаривала, заикаясь:

– Где ты, мама мамочка моя!.. Забери меня из интерната, мама!

Переведя дух, снова продолжала охрипшим голосом:

– Я домой хочу, к тебе, мамочка!..

Вера Ивановна услышала плач за дверями спальни комнаты, вошла. Жалкий вид девочки, словно вид мокрого всклокоченного котенка, забившегося в угол от людских глаз, поразил воспитательницу. Она остановилась на миг в нерешительности, с досадой и болью думая: «На что обрекла мать ребенка!» Потом шагнула к ней и прижала к груди ее головку:

– Не плачь, Светочка ты уже большая, не плачь.

А у самой спазмы клещами сдавили горло, мутной пеленой застлало глаза, грудь словно камнем придавило. Света доверчиво прильнула к ней, продолжая всхлипывать. В комнату робко, один за другим на цыпочках входили мальчишки и девочки из дошкольной группы и как цыплята наседку окружали Веру Ивановну. А она уговаривала тихим ласковым голосом, гладила по головке Свету, вздрагивавшую как в ознобе.

Сначала одна девчушка протиснулась под руку воспитательницы, вытягиваясь как гусенок, чтоб ее как Свету погладила по голове. Вера Ивановна со вздохом опустила руку на подставленную стриженную головку. Разве осудишь их или посмеешь огорчить запретом, когда в доверчивых глазах столько мольбы, а в тихих стеснительных улыбках – невысказанных просьб о ласке материнской, до обжигающей боли желанной...

...Прошло две недели. Директор интерната Игорь Михайлович вызвал Веру Ивановну, чтоб передать ей письмо из лечебно-трудового профилактория.

– Вот, полюбуйтесь, почитайте до какой степени могут опуститься люди!... Да разве это люди?

Он был расстроен, не находил места, бегал по кабинету. Таким Вера Ивановна ни разу не видела его за многие годы совместной работы.

Директор бросил на стол конверт. То был ответ на письмо. От имени педколлектива она писала в профилакторий, чтоб Ирину Васильевну Найденову досрочно освободили, что педколлектив будет ходатайствовать перед народным судом об отмене приговора о лишении ее родительских прав. Писала, как тоскует и переживает разлуку с матерью ее дочь Света. И вот немногословный ответ:

«Уважаемые товарищи! О досрочном освобождении И. В. Найденовой не может быть речи, так как она систематически нарушает режим лечения и трудовой распорядок. Направляю заявление И. В. Найденовой», – писал начальник ЛТП.

В конверте было заявление Найденовой, в котором она отказывалась от дочери: «Что хотите, то и делайте с ней. Куда хотите – туда девайте».

Прочитав это, Вера Ивановна отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся слезы и прошептала:

– Света, Светочка! Несчастливая девочка! Водка для матери – дороже тебя...

* * *

Неизлечимая болезнь

// Знамя труда. – 1989. – 15 апреля.

– Закуривай, Федор Петрович, – протянул Иван Иванович приятелю пачку сигарет.

– Спасибо. Не курю.

– Тьфу ты, холера ясная, я и забыл. Давно бросил?

– Да уж лет двадцать.

– Везет же людям, как-то бросают. Сила воли есть. А я перед папиросой как то кролик перед удавом. Знаю, что вредно, но с проклятой привычкой никак расстаться не могу. Подсказал бы секрет.

– Давно это было, – нехотя начал Федор Петрович. – Плохо себя чувствовать стал. Ослабел, похудел, кашлял, как чахоточный. А курил – пачки на день не хватало. Утром проснусь – первым делом за папиросу. Ночью даже стал вставать, чтоб покурить. Жена то уговаривает, то ругает, к врачу гонит. Пошел. Наша участковая долго меня крутила, слушала, анализы заставила сдать. А потом говорит:

– Я в областную больницу направлю вас на консультацию.

Оформила мне направление, анализы передала.

– Езжайте, – говорит – Не тяните.

Думаю, что-то серьезное, коль отправляет. Загрустил. Я всегда мнительным был. Рак, думаю, а может, еще похуже.

Там врач посмотрела мои анализы, раздеться до пояса заставила. Увидев мою худобу, удивилась. Прослушивала долго. На обеих руках давление смерила, глаза заставила закатывать, растягивала их и разглядывала что-то. Направила на рентген. На другой день придти велела к невропатологу.

У невропатолога и иглой кололи, и молоточком по коленкам колотили, и с закрытыми глазами нос щупать заставляли. Потом врач сложил свои инструменты и говорит:

– Нервы у вас не в порядке. Даже очень... Я рецепт вам выпишу да справку. Лечащему врачу дома отдайте.

Взял я справку, попрощался и вышел. В коридоре не утерпел, чтобы не прочитать. Бланк справки по форме: фамилия, имя, отчество. Место работы. Должность, специальность. Диагноз. Рекомендуемое лечение. Ну, там еще дата, подпись врача. Первые графы, что там написано – я разобрал. А вот диагноз прочесть не мог, как ни старался. Кажется, и по-русски написано, и не по-русски. А в графе «рекомендуемое лечение» всего четыре подобия букв, из которых русское слово никак не получается. И тут я догадался: врачи же латынью пишут. Как я могу прочитать? Перевернул бумажку – на обороте разборчивее значилось:

1. Бросить курить. Жирной чертой подчеркнуто.
2. нормированный труд.
3. регулярное и калорийное питание.
4. спорт и воздух.
5. курортное лечение.

Прочитав это, опять вернулся к четырем буквам рекомендованного лечения. И так, и эдак прикидывал, пока домыслил, что латинский и немецкий языки в чем-то сходны. В строчке, похоже, значится «нихс» или «некс». Я со школьной скамьи помнил, что по немецки «никс» - это «нет». Значит, и по латыни «нет» похоже пишется.

Представляешь! До меня дошел смысл ужасного слова. Лечение нет! Загадочная болезнь неизлечима! А то, что на обороте – всем пишут.

Шаркая ногами, опираясь на перила лестницы, пошел в регистратуру. Подал справку, чтобы заверили.

– Девушка, – говорю, – прочтите, пожалуйста, что написано в графе «диагноз» и «рекомендуемое лечение»? Она посмотрела, посмотрела и ответила:

– Не могу разобрать.

Ну, думаю, просто не хочет огорчать. А тут из рентгенкабинета выбежала в белом халате врач не врач. Я к ней:

– Прочтите, что тут написано.

Она взяла справку, посмотрела на нее, а потом так серьезно, грустно, даже с испугом ответила:

– Вам нельзя говорить.

Вернула бумажку и убежала по своим делам.

Я был сражен наповал. Ошеломлен, мало сказать, парализован! Какое-то мгновение стоял как истукан. Ноги не двигались, а сердце через горло пыталось выскочить. Ну все, думаю, конец! Прощайте дети, жена, родные! Не много пожил, ребятишек не вырастил. Болезнь неизлечима, конец скорый.

Вышел на улицу. Рука машинально опустилась в карман и нащупала пачку папирос. Выхватил ее.

Она словно пальцы обожгла. Стиснул в кулаке, измял и бросил. Еще ногами растоптал. Не закурю, подумал, так хоть на какую-то малость жизнь продлю, если не смог уберечь здоровье.

Иван Иванович широко открытыми глазами смотрел на рассказчика. Сигарета в пальцах бесполезно дымилась. За все время рассказа он ни разу не затынул.

– Так и бросил? – наконец вымолвил он.

– Бросил. А что было делать?

– Ну и дела, холера ясна! А что в той справке было написано, узнал?

– Узнал. Невропатолог говорил, что нервы мои не в порядке, вот и поставил диагноз «неврастенический симптомокомплекс». Слово-то длинное, «лекс» в строчку не вошло, он и перенес в графу «рекомендуемое лечение», а знак переноса не поставил. Знаете ведь как они пишут. Порой сами прочитать не могут. Вот так я и бросил курить под страхом неизлечимой болезни.

– А ведь кроме болезни эта привычка ничего не дает, – Иван Иванович с отвращением бросил догоревшую сигарету. – Надо край пропасти увидеть, на дно ее заглянуть, страх и боль нестерпимую почувствовать, тогда бросишь.

– Ну, это крайности. Можно и сознательно, по доброй воле.

И в который раз Федор Петрович с облегчением вздохнул, поднимая со скамьи налитое здоровьем и силой немолодое уже тело.

* * *

В гостях у прошлого

// Знамя труда. – 1993. – 13 ноября.

// Знамя труда. – 1993. – 11 декабря.

Поезд остановился. Николай Викторович Рыбин подхватил портфель и, заглядывая в окна вагона, словно стора от нетерпения увидеть встречающих, направился к выходу. Каким-то увидит он Загорск. Более пятидесяти лет не был он в городе раннего детства.

Вспомнились пыльные городские улицы из деревянных домов, с любопытством подсматривающими за прохожими глазницами окон, мостки против каждых ворот: дощатые, из бревен, горбылей, выбивающие дробь от шагов; расчищенные канавы и чисто выметенные тротуары у каждого дома. На многих калитках жестянки с надписями: «Осторожно, злая собака». Сколько огорчений эти надписи причиняли ему, восьмилетнему босоногому мальчишке, со снопом нестриженных и спутанных, словно нарочно скатанных, русых волос на голове, приросшей на тонкой длинной шее к худенькому телу, обтянутому лохмотьями, от бывших когда-то рубашки и штанишек, из которых он давно вырос. Синие круглые глаза горели вечно голодным блеском. Землистого цвета кожа обтягивала выпирающие на лице скулы и челюсти...

Николай Викторович вышел на привокзальную площадь. Лучами в трех направлениях расходились улицы. Из зелени насаждений, пышно разросшихся по обеим сторонам проезжей части, вытянулись многоэтажные дома и снисходительно смотрели на уличное движение. Листья деревьев и кустарников, аккуратно подстрижены, как у модниц после химической завивки – округлые, шептались, а стекла в окнах улыбались, искрясь в солнечных лучах. Это был другой город, не узнаваемый, как чужой, ничего знакомого. Николай Викторович помнил, что от вокзала начиналась Вокзальная улица и тянулась в восточном направлении, отделившись от железной дороги огородами и надворными постройками. На этой улице, ближе к переезду, стоял пятистенный домик под тесовой крышей с проломленной подгнившей доской на мостике через уличную канаву, заменить которую было некому. В этом домике жила семья Рыбиных. В тридцатом году Виктор Петрович собрал нехитрые пожитки, детей и перебрался Загорск. Нелегко было это сделать потомственному крестьянину, сросшемуся с землей, со своей лошаденкой, коровенкой, другой живностью на крестьянском дворе.

До двадцать девятого года семья Рыбиных не была богатой, но и не бедствовала. Десять десятин земли, хозяйство, огород обеспечивали всем

необходимым. Излишки зерна Рыбин отвозил на базар, чтоб на вырученные деньги одеть, обуть домочадцев, бутылочку, другую любил купить и в субботу после баньки распить с соседями. Жили самостоятельно, к богатым мужикам за помощью не ходили с протянутой рукой.

В деревне организовали коммуны «Факел». Рыбин одним из первых вступил в нее, не посчитавшись с доводами и слезами жены. По деревне ползли разные слухи: не только инвентарь, лошадей, коров, овец, птицу сгонят на общий двор, но и одежду, обувь соберут, потом дадут кому что, детей в одном доме растить будут, а потом всех мужчин и женщин соберут в общежитие. Мать верила и не верила слухам, а отец посмеивался, подтрунивал над ней. Но и он с каждым днем становился все мрачнее. Не похожей оказалась коммуна на ту, которую рисовали районные уполномоченные при ее организации. Мать опасалась даже за кухонную утварь: «А вдруг тоже соберут?» что получше было из одежды, она увязала в узлы, кошму, перину – все собрала, куда-то утащила и спрятала. Отец то смеялся, то ругал ее, а когда свел на общественный двор лошадь, корову, овец, подсвинка – загрустил, ходил по опустевшему молчаливому двору, хмурился, не знал, чем заняться. Хотя старался скрыть, в глазах, голосе, движениях сквозила тоска, сжимающая сердце. До слез было жалко своих животных. Они всегда так доверчиво и преданно смотрели на него, когда был занят уходом за ними. Он их ласкал, оглаживая, почесывая за ушами, а они тянули к нему головы с бессловесной покорностью. От скрытых переживаний он стал сильнее припадать на раненую ногу и хромал заметнее.

По утрам, как и все коммунар, он получал наряд на работу. Обедать не приходил. В доме кулака Нестерова открыли коммунарскую столовую, и все, кто был на работе, обедали в ней за общим столом. После раскулачивания богатеев деревни запасы мяса, соленых овощей, картофеля в коммуне использовали до самой весны. Готовили вкусно, кормили сытно. Мать вечером ходила с подойником на нестеровский двор, где стояли коммунарские коровы. Там выдавали на каждого едока первое время по одному литру молока, а потом – только по пол-литра. Приносила его, разливала по кружкам, а сама сидела около пустого подойника, тяжело вздыхала, слезы так и капали из глаз. Она отворачивалась, украдкой смахивала их.

Николай Викторович хорошо помнил, что с той поры она перестала шутить, улыбаться, а смеху и вовсе не было слышно, зато сердилась и раздражалась часто, угощая его и сестренку затрещинами, потом сама вместе плакала...

Коммуна рушила семейный уклад, казавшийся незыблемым, отлаженным, привычным. У членов семьи изменились обязанности, занятость, заботы, а жизнь лучше не стала.

Осенью дела в коммуне пошли совсем плохо. Наступила бескормица. Теснота в помещениях и плохой уход повлекли болезни животных. Скот тошал. Начался массовый падеж. Может, такой беды не случилось бы, если отношение коммунаров к труду и выполнению обязанностей было иным.

Два-три раза в неделю собирались собрания и заседания, наезжали уполномоченные, а дела ухудшались.

Скривив в язвительной усмешке губы, Виктор Петрович рассказывал дома:

– Опять уполномоченный приехал поучать, спасти скот от падежа. Командует.

– Вот и хорошо. Давно пора, – не разделяя его злой иронии, ответила жена.

– Пора, пора... – кипятился Рыбин. – Слышала бы, что он говорил... И зачем таких посылают в деревню? Все мужика учить хотят, воспитывать. А что нас учить? Мы вечно в земле копаемся. Злости не хватает. Ничего не понимают, а туда же, в учителя да погонялы. «Давай, давай, так, да не так», – Виктор Петрович матюгнулся и стал свертывать цыгарку. Злость распирала. Пальцы плохо слушались.

– Так уж и не понимают...

– А что, думаешь много смыслят эти уполномоченные? Вон вчера приехал какой-то «чемберлен» в шляпе, кожаном пальто и давай председателя отчитывать. Откуда только слова откапывал. Все за голову хватался около уха кончиками пальцев, словно из нее как из пивного котла пузырями мысли лезли, обгоняя одна другую. Да еще угрожал. «Почему, – говорит, – скотдохнет?» А Игнат Степанович отвечает: «Кормов нет». «Соломой, – говорит, – кормите овсяной, пшеничной, ржаной». «Всю скормили, – отвечает Игнат. – Нет ни пшеничной, ни ржаной – никакой. Крыши раскрываем». А он так глубокомысленно, прищуривая глаза, как кот на крыше, спрашивает: «А крупчатную солому куда подевали? Берегете?» «Какую крупчатную?» – удивился Игнат. А потом понял, что имел «чемберлен», едва сдерживая смех, развел руками: «Нет, – говорит, – крупчатной тоже». Уполномоченный или не расслышал последние слова Игната, или не понял. Мужики оживились при последних словах уполномоченного. А он продолжал, не обращая внимания на усмешки: «Я имею в виду ту, из зерна которой белый хлеб выпекают».

«Крупчатная солома» прилипла к языкам коммунаров. Уполномоченного изводили насмешками, смеялись по-заглаза и в глаза, в конторе слушали с издевательскими улыбками, а если проходил по улице – к окнам прилипла любопытные лица баб, старух и стариков, смотрели как на чудо, сотворенное Всевышним, или исчадие ада, посланное дьяволом, – крестились. Ребятишки сопровождали его, выкрикивали обидные слова, пронизительно свистели и показывали языки.

Через два дня уполномоченный попросил подводу у Игната Степановича и, не попрощавшись, уехал...

Падеж скота вызвал ропот и недовольства коммунаров. Сначала из коммуны вышло три семьи, сговорились они или нет, но уговоры их не удержали, а к концу февраля «Факел» перестал существовать.

Организованная без достаточной подготовки общественного сознания крестьян, прикипевших к своему личному, впитавшемуся с материнским

молоком, без умелого руководства крупным хозяйством, из людей, которые на каждом шагу противопоставляли свое – коммунарскому, коммуна оказалась нежизнеспособной. Немалую роль в этом играли директивы, что делать, когда и как, командным голосом звучавшие в устах уполномоченных и предписанных циркулярами из контор района, часто далеких от целей, задач и интересов коммуны...

Корова и лошадь Рыбиных пали. Остались только две овцы, и те не стояли на ногах.

Виктор Петрович потерял голову. На пороге весна, а нет ни семян, ни тягла. Он то уходил из дома и где-то пропадал целыми днями, то сидел в горнице – не разговаривал, не слушал, что ему говорили, не отвечал на вопросы, только курил одну сигарку за другой. В горнице было сине от дыма, а он все смолил и смолил.

Наталья Яковлевна пыталась заговорить с мужем. Он отмалчивался, сопел и думал о чем-то своем.

– Ну что ты все лезешь ко мне? – как цепной кобель набросился он. – Отчепись!.. Не надо тебя! – он бросил недокуренную сигарку, растоптал ее. – Уйди, не травми душу!..

Наталья Яковлевна, втянув голову в плечи, поспешно вышла. Она терялась перед его яростью. Видя красные всполохи в прищуренных глазах, тряслась как осенний лист, давясь собственными невысказанными словами, умолкала, страшась еще больше возбудить в нем злость, бушевавшую как неумное пламя. «Бог с ним... Пусть отойдет от горя. Не послушался меня с этой коммуной, теперь терзается. Будет сидеть молчать, словно застегнувшись на все пуговицы, да смотреть под ноги, – думала она. – О, господи, пресвятая богородица, спаси и помилуй нас, грешных...»

Николай Викторович о жизни в деревне, о коммуне мало что помнил. Только отрывки каких-то далеких и бледных, неразборчивых и несвязных картинок, как на негативе, проявлялись в сознании, а разговоров между отцом и матерью о той поре слышал немало, а когда и сам расспрашивал. Как ни старался, не мог понять, что произошло в деревне, почему так печалились родители. Мать плакала и молилась, а отец искал справедливость, горячился, волновался, матерился, а она будто провинилась перед ним, пряталась в какой-то неведомый пятый угол, ускользала. Он обращался в сельский Совет, ходил пешком в район. Единственное, чего добился – выдали нужные справки. Собрав пожитки, Рыбины с грехом пополам перебрались в Загорск. «Был крестьянин – стал рабочим», – горько шутил отец.

Много лет спустя постепенно приоткрылась перед Николаем Викторовичем трагедия деревни, тех преобразований, к которым ее силой волокли, пока не разрушили, и не угнали в разные концы страны невольно или добровольно тех, кто умел растить хлеб, с болью и кровью они отрывались от земли, бросая разоренное хозяйство. Только тогда он понял, сколько надо было иметь мужества, чтоб пережить такие невзгоды. В дьявольское решето надо было просыпать много, много дней...

Загорск и жизнь в нем Николай Викторович помнил отчетливее. Многие эпизоды не выходили из головы, стояли перед глазами, как туча гнуса в тайге. Помнил отца с поднятой на подвязке над ставником кровати ногой. Ступня распухшая, красно-фиолетовая. Второй раз за два года в Загорске у него открывается рана, полученная в девятнадцатом. Долго собирается где-то там на пути, проделанном пулей в живой ткани и кости нарыв, с мучительной болью куда труднее переносимой, чем во время ранения, на три-четыре месяца отрывавшая его от работы. Мать маленькая, усохшая как былинка, в сорок лет состарившаяся, смотревшая глубоко утонувшими глазами на давно опустевшие от хлеба и продуктов полки, две маленькие сестренки. Они беспрестанно цеплялись за ее подол, хныкали, терли кулачками глаза и жалостными голосами просили есть.

– Мама-а, дай Колькин кусо-очек!.. – тянула ручки Нинка.

– Нету кусочков. Вчера последний вам разделила, – отвечала мама. Нинка заревела во всю мощь легких, прерывая пронзительный рев визгливым криком: «Есть хочу!.. дай кусочек, хоть ко-рочку сухую!.. Ей вторила маленькая Катька. В глазах девочек набухали и катились по щекам слезы, сморщенные личики синели, казалось, вместе со слезами утрачивают последние силы, и нечем их восстановить, пополнить.

От плача звенело в ушах, даже стекла в окнах откликались жалостливым дребезжанием, сливаясь воедино с голодным воем в доме Рыбиных. У Натальи Яковлевны и Виктора Петровича кровью обливались сердца, как плети, висли и не поднимались руки. Накормить детей было нечем. А что еще могло быть более горестным и печальным, чем смотреть на голодных исхудавших детей?!

...Николай Викторович шел по Вокзальной улице. На аншлагах на зданиях, стоящих на перекрестках, значилось, что она теперь называется «Станционной». На то, что домишко, в котором жила семья Рыбиных сохранился, надежды не было. По обе стороны высились многоэтажные дома. Вместо переезда через железнодорожные пути переброшен железобетонный путепровод, по которому беспрерывно сновали, как разноцветные букашки и жучки, автомобили. Все было другим в городе. Слишком далеко позади осталось прошлое. Только из памяти можно вытряхнуть и сопоставить с настоящим. Он поравнялся с небольшим сквериком, свернул в него и пристроился на свободной скамейке. В дальнем углу табунились мальчишки и девочки лет по восемь-девять, ярко одетые, веселые, жизнерадостные. По дорожкам, переваливаясь с боку на бок, как желторотые птенцы, передвигались малыши. За ними бдительно наблюдали бабушки и мамы со скамеек. Деревья глушили уличные шумы, ловили и прятали в свои зеленые одежды пыль и газы. Дышалось легко и свободно. Только в мыслях было жаль того тихого деревянного Загорска. А этот был неузнаваем. Было грустно. Уходит время. Уходит жизнь. Обновляется все: природа, люди, города. И нет силы, которая бы застопорила, остановила это движение, извечное и непрерывное. Раньше он не думал так. Очевидно, мысли об этом рождаются на последнем отрезке жизненного пути с

переосмысливанием, сожалением, раскаиванием, а то и с гордым удовольствием. «Жизнь прожить – не поле перейти». Много, много всего бывает. Только думать об этом не всегда легко. Все что было – необратимо.

Философские размышления Николая Викторовича прервались. Слышно, нерешительно протянула девочка, громко позвав одного из мальчиков:

– Вася, Вася!.. Сколько тебя ждать? Иди быстрее.

Николай Викторович обернулся на крик девчушки и увидел, что от ближайшего дома к ним, не спеша, направляется парнишка-ровесник. Рыбина он не интересовал. Он не разглядывал его. А вот имя мальчика как-то разворошило память, перенесло в те далекие дни. Перед глазами замелькали домашние и уличные картины давно минувшего детства. Он увидел себя маленьким, вихрастым, с перекинутой через плечо холщевой сумкой...

...Утром его разбудили рано. Какая-то неуверенная и печальная стояла у постели мать, умоляюще глядела на него. И столько боли было в глазах, что, казалось, вот-вот расплечется. Отец стонал на кровати, сестренки спали. Она боялась потревожить их, оглядываясь, заговорила срывающимся шепотом:

– Коля, маленький мой помощник, вставай обойди улицу, по которой вчера не ходил. Может подадут. А то Нина с Катей встанут, опять будут просить есть, а в доме крошки нет. Пораньше надо. Много нищих ходят, после других отказывать будут, - она словно провинившаяся смотрела на него.

– Так не подают. Да и стыдно побираться. Ребятишки смеются, дразнятся.

– Что поделаешь, Коля. Отец поправится, все наладится, не надо будет ходить побираться. А пока сам видишь и понимаешь. Ты уж большой. Собирайся, сынок, иди. Я соседей обойду. Может какую-нибудь работу дадут, глядишь кусок или картошки мобудь чуток заработаю. Вставай...

Еще зимой Колька начал побираться. Ох как тяжело было ему ходить и просить милостыню. Стыдно-то как! Он прятал глаза, говорил еле, подавал трясущуюся руку... Одежка худенькая, на ногах чиненые перечиненные валенки, из которых, как скворчки из скворешницы, выглядывали пальцы, посиневшие на морозе. Тело стыло, померзло до костей. Толкни его, и из одежки посыплются льдинки, будто сосульки. Он заходил в дома, едва ворочал языком, так хотелось в тепле подольше задержаться, топтался на месте, как ягненок в загородке, а хозяйки поскорее выпроваживали... Летом стало легче. Тепло, солнышко приветливо светило, так и силилось разогнать его грусть и недетскую тоску по сытой обеспеченной жизни.

Как он обижался на свою долю! С какой завистью смотрел на ребятишек, весело играющих на улице. Его не принимали в игры, обзывали оборвышем, нищенкой, поящим-кормящим. От обид он часто плакал, сжимал кулачки и мстительно думал: «Ну погодите, вырасту, покажу вам оборвыша. Кровьюумоетесь!»

...Ярко высветил тот день. Как будто вчера это было. На улице мало прохожих. Рано еще. Во дворе, где встречали диким лаем собаки, он не заходил. Позади осталась половина домов улицы, но везде отказывали подать

милостыню. А одна женщина накричала на него: «Ходят тут всякие. Где набраться для вас подояний?!» Она вытолкнула его. «Может вернуться домой?» – размышлял он. Но, вспомнив голодных сестреночек, умоляюще просящий взгляд матери, шел в следующий дом.

«Подайте милостыню ради Христа... Перекрестившись на иконы в переднем углу, каким-то чужим, дребезжащим голосом просил... несмело глядел по сторонам... надеялся...

Хозяйка – молодая еще женщина – жалостливо, как на несчастного среди несчастных, посмотрела, грустно грустно так вздохнула и подошла к шкафчику.

– На вот, мальчик, пирожок. Поминай Васю, – сама фартуком вытерла набежавшие на глаза слезы. Видно боль утраты может единственного сына не отступала от ее сердца, мучила и терзала неотступно.

– Спасибо, тетенька, – вымолвил тихо он, как большую драгоценность, опуская маленький пирожок в нищенскую суму.

Всю улицу он тогда обошел, только больше ни в одном доме не подали. Как сговорились все, отвечали: «Нечего подавать...» Он расстраивался, злился, обвинял в скупости горожан: «Жадюги. У самих все есть, а не подают. Самим бы побираться, узнали бы тогда». Как возвращаться домой, когда всего один пирожок? Слезы навертывались на глаза, уж плечи вздрагивали от внутреннего плача, но разве это что-нибудь изменит?

Николай Викторович припомнил какое он тогда принял наивное решение. Ребенок он и есть ребенок. У него была одна цель: пополнить нищенскую суму, чтоб что-то самому съесть и домой принести...

Он морщил лоб, тер пальцами виски, прикрытые сединой, припоминал подробности не только того дня, но и всей нищенской жизни семьи в те беспощадные до нелепости годы. Воспоминая так увлекли, что не заметил как к скамейке, где он сидел, подошли мальчик и девочка.

– Вам плохо, дедушка? – пропела чистеньким звонким голоском девчушка. – Может, «неотложку» вызвать? – Или вид согнувшейся старческой фигуры, или поддерживаемая руками трясущаяся голова, словно распухшая и отяжелевшая от воспоминаний, или ничего не видевшие, часто моргающие глаза насторожили ребятишек, или просто детская сопричастность, пробудили тревогу.

Беленькое пухленькое личико девочки с ямочками на щеках, большие, круглые, синие и ясные глаза так и источали озабоченность, беспокойство и бескорыстное детское участие, а мальчик смотрел напряженно на нее, глаз не спускал, готовый в любой момент бежать к телефону по ее команде вызвать «скорую» помощь.

– Нет, дорогие мои, у меня ничего не болит, и не надо «неотложку». Спасибо вам, вы такие добрые, внимательные. Он потеплевшими глазами посмотрел на ребят и спросил:

– Как вас зовут?

– Меня – Люся, его – Вася, – бойко ответила девочка.

– Вы учитесь?

– Мы уже перешли во второй класс. А сейчас каникулы. Не учимся, – ответила Люся.

В такт ее словам, торчащие в разные стороны косички, как маленькие локаторы, прослушивая ее ответ, утвердительно кивали.

«Счастливые, – вздыхал Николай Викторович, глядя на ребяташек, беззаботно продолжавших свои игры в сквере, наполнявших его веселым смехом и звонкими голосами. – А у нас не было радостей в детстве, только голод, нужда, слезы, унижения. Эх, доля, доля... Правильно говорят, что у каждого своя судьба. Словно по чьей-то злой воле распределяются между людьми горести и радости. Одним – больше, другим – меньше того или другого. Порой бьется человек, так старается, чтоб обрести маленькое место под солнцем и трудится на совесть вместе со всеми, тянется из последних сил, но мало что достается для тела и души. Словно злой демон оседлал жизненную дорогу, глумится над ним, тешится людской мукой. И никакой не рок, а властолюбие, злоба, зависть тому причина. Человек оказывается беззащитным, бесправным. И уж никто не спасет, не поможет ни словом ни делом. Вот и они, Рыбины, по чьей-то злой воле оказались обойденными судьбой. Удивительно, как они выжили в то набухшее от несправедливости время», – невесело думал Николай Викторович.

... И опять перед глазами тот день, улица, залитая золотыми утренними солнечными лучами. Они освещали, но не грели. Худенькое тело мальчика с сумой на плече. Николай Викторович видел себя как бы со стороны. Он – мальчишка, стоял посреди улицы и все еще раздумывал, что ему делать. Он скользнул глазами по недружелюбно хмурившимся окнам в резных наличниках и увидел дом, где ему подали пирожок.

«А что если зайти к этой доброй тетеньке, – думал маленький нищий, – может, подаст еще?» Он знал, что так не бывает, что так не поступают нищие, но и другого выхода не находил. Вдруг будет два пирожка?! Не идти же домой с одним. Скажут, что все съел по дороге. Вот надо только, чтоб не догадались, что второй раз зашел, чтоб не узнали. Он и сейчас помнил, как пытался замаскироваться.

Подходя к дому, захромал чуть не на обе ноги. Со стороны вполне сходил за маленького инвалида, прищурил глаз, будто его нет, и смотрит одним. С полной уверенностью, что не узнают, поднялся на крыльцо и вошел в дом.

«Подайте милостыню ради Христа», – хриплым голосом, растягивая слова, обратился к хозяйке. Она посмотрела на него с недоумением и жалостью, а потом со вздохом сказала: «У нас, мальчик, по два раза не подают».

Куда исчезла хромота, и глаз открылся. Его словно кипятком окатили. Он бросился, не чуя ног, на улицу, сгорая от стыда и обиды. Хитрость не удалась. Всю дорогу до дома вытирал слезы, хотя не плакал, а они капали и капали из глаз...

Ему и сейчас, старому человеку, прожившему нелегкую жизнь, было неловко от стыда за ту наивную детскую ложь. Он смотрел на играющих детей и в душе радовался, что им не испытывать такого унижения.

...Николай Викторович поднялся со скамейки и пошел искать приметы своего детства на улицах большого и шумного города.

Из семейного архива Осетрова Сергея Даниловича

Стихотворения

Из Фронтовых тетрадей

Под серой солдатской шинелью,
Подтянутой жестким ремнем,
Порою веселую трелью
Сердце поет соловьем.
 Нежные звуки волнуют,
 Нарушив душевный покой,
 Солдатскую радость миную,
 Приносят страдания и боль.
О юность! Летят твои годы!
В душе каменеет любовь.
И если пройду через битвы, невзгоды
Проснешься ли в сердце ты вновь?

1943 год.

* * *

Детище народа

В суровом многотрудном восемнадцатом году,
Когда страна в огне боев пылала,
Сражаясь с контрреволюцией на фронте и в тылу
Завоеванья Октября ты отстояла.
 Твои удары помнит враг.
 Царицин. Нарву, Псков он знает.
 Свист острых сабель и свинцовых град
 Он и сейчас со страхом вспоминает.
А ты любимым детищем народа
В дни пятилеток героических росла.
Училась ты и крепла с каждым годом.
Счастливый труд отчизны стерегла.
 Над Родиною вновь нависли тучи.
 Огонь и дым закрыли горизонт.
 И вновь непобедимой силою могучей
 Ты развернулася перед врагом во фронт.

И загремели жаркие сраженья.
Враг наседал, одевшись в броню.
Но, выполняя Родины, народа повеленье
Ты отстояла независимость в бою.
Ты отстояла счастье, честь, свободу,
И сохранила жизнь для Родины своей
В боях жестоких своему народу
Вернула села, города, простор родных полей.
И недалек тот день, когда над логовом врага,
Гнездом фашизма проклятым Берлином,
Ты водрузишь знамена торжества,
Победы, славы, счастья, мира!

Февраль, 1944 год.

* * *

В пустынях Африки блуждая,
Там, где песков сыпучих море.
Я б не сказал, что муки были.
Встречал беду и видел горе.
Под небом сидя, в тайге Сибири,
На листья павших и на хвое.
Я б не сказал, что муки были,
Встречал беду и видел горе.
Попав бы в Артику седую,
Шипенье моря слыша злое,
Я б не сказал, что муки были,
Встречал беду и видел горе.
Прийду с войны, коль жив останусь,
Везде и всюду переборю все беды, горе, муки.
Работать буду и учиться стану,
Для мира, счастья народа чтоб познать науку.

1944 год.

* * *

Солдатские думы

Я слышу девичьи песни вдали
Звучат, не смокая, в селе.
Призывный их голос звучит до зори,
Чтоб лаской дарить в тишине.
Один за другим километров столбы
Мимо проносятся окон вагона.

А ноги коварной солдатской судьбы
Уносят все дальше от дома.
И ты, как виденье, мелькнув предо мной,
Короткий момент – и разлука.
За несколько слов, поцелуй огняной,
Страданья, душевная мука.
Вот так, погрузившись в тяжелые думы.
Я с Запада еду на Дальний Восток.
Под стуки колес и дорожного шума
Плещется мысль солдатских потоков:
«На Дальнем Востоке
К миру все ближе.
В сраженьях жестоких
Удася ли выжить?»

Рассказы

На улицах Братиславы

Занималось утро. Легкое дуновение ветерка предвещало появление солнца, и река приготовилась засверкать своей гладью. Катера Дунайской флотилии причаливали к берегу. Мы один за другим прыгали в воду, неуклюже шагая с поднятыми над головами автоматами.

Первые лучи выползающего из-за гор солнца озаряли стены стоящей на высоком холме Братиславской крепости. В разных концах города то возникала, то затихала перестрелка.

Наступление наших войск со стороны вокзала, крепости и с берегов Дуная было столь стремительным, что немцы не могли организовать оборону и поспешно отступали. Лишь отдельные группы оказывали сопротивление, огрызаясь хлесткими автоматными очередями, да иногда слышались тугие хлопки взрывающихся гранат.

Наш взвод продвигался по пустынным улицам, укрываясь у изгородей, с нависшими ветвями деревьев. Город казался безлюдным, затаившимся от страха. На окнах домов, укрывшихся в глубине садов. Опущены жалюзи, калитки и двери глухо закрыты, улицы пустынные: ни транспорта, ни пешеходов.

Из-за Дуная медленно поднималось солнце, не скупясь, разбрасывало вокруг щедро ласковые лучи. Ему не было дела до смерти, гуляющей по улицам города и на широких просторах Европы, до мокрых и потных запыхавшихся в беге солдат. Оно озаряло землю ярким светом, несло тепло в горячих весенних лучах, искрилось в камнях мостовой и дарило радостью наступающего дня все живое.

Трудно совместить запахи пороха, пота, разгоряченных солдатских тел, дыма пожаров с теплым ласковым утром, солнечным блеском и щебетанием

птиц в садах. Яркий, безмятежный, неповторимый в своей красоте и жизненной силе рождающийся день и гибнущие в огне войны творения природы и рук человеческих – несовместимы. Что может быть трагичнее и печальнее?..

Лейтенант Савин взмахом руки остановил взвод. Опираясь на размашистое дерево, перевел дыхание. Осмотрелся. Тыльной стороной ладони вытер пот со лба, поправив фуражку, негромко позвал:

– Савельев, иди сюда! – Подошел Павел Савельев, сержант лет тридцати с обветренным темным лицом, с озорными всегда смеющимися глазами в сдвинутой на правое ухо пилотке.

– Слушаю, товарищ лейтенант!

– Бери своих ребят и осторожно двигайтесь правой улицей. А ты, Замятин, – обратился командир взвода ко мне, – прямо. Он показал направление моей группе и отделению Савельева.

– Держитесь ближе к домам. Внимательно все осматривайте. В бой вступать по обстановке. Встретите большие силы противника – шлите связного. Людей берегите. Через четыре квартала соединяемся. Правее нас действует второй взвод роты.

Вокруг было тихо. Лейтенант еще раз осмотрелся. Махнул рукой и мы побежали в указанном направлении. Немного приотстав, прижимая планшетку, за отделением Савельева с остальными бойцами двинулся командир взвода.

На нашем пути пока немцев не было. В отдаленных улицах потрескивали автоматные очереди. Где-то взрывали моторами и скрежетали гусеницами танки, слышался топот солдатских сапог, да глухо позвякивало оружие...

Озираясь по сторонам, я быстро шагал, а тело сжималось от напряжения словно пружина. Каждый мускул готов в любой миг отреагировать на опасность. А где она затаилась? Как определить?

Труден бой в городе. Каждый дом – крепость. Любое окно, подъезд могут брызнуть свинцом. Не угадаешь где притаилась смерть, откуда следят глаза врага и ждут удобный момент. Чтоб вырвать жизнь.

В открытом поле куда проще. Там все ясно. Окопы врага впереди. Поддерживает артиллерия, минометы, может авиация прикрывать, если необходимо. Вслед за разрывами в массе атакующих стремительно бежишь. Уши ловят свист пуль и осколков. Голова глубже втягивается в плечи, тело ниже пригибается к земле, словно, в этом спасение от смертоносного роя. Бежишь, кричишь и крика не слышишь. А охватит страхом, как огнем опалит с головы до пят, на всем бегу упадешь. Какое желание прижаться к матушке-земле! А товарищи бегут и тоже кричат. И, кажется, они тебя поднимают призывным криком, набатом звучащем в грохоте разрывов и автоматной трескотни. И опять бежишь с одной мыслью, одним желанием: быстрее, быстрее до окопов врага, а там... Что там? Некогда думать об этом. Только скорее до окопов. Будто ими закончится все главное и опасное самое трудное на войне.

А начнется преследование отступающего врага, легче и веселее будет от сознания одержанной победы и одоления минутного страха. И тогда удесятерятся силы. Забывая об усталости, устремляешься вперед, чтоб гнать, настичь и одолеть противника. Что сказать? Не легкий ратный труд пехоты, но за ней последнее слово в сражении. Другие рода войск для нее служат. Как опытный стогоправ на лугу завершает труд слаженной бригады, она в бою закрепляет победу.

Я часто после боя. Когда спадало напряжение и появлялось желание подумать о былом, мечтать о будущем мешал какой-то суеверный страх, припоминал, как раньше, еще до войны, во время сенокоса, взмахивая косой, шел по прокосу. Звенела надсадно коса, лежала в валки подкошенная трава, вздрагивали натруженные руки, спина чувствительность теряла, а пот глаза застилал. Через его едкие капельки я устремлял взгляд на траву, вытянувшуюся и, словно, отшатнувшуюся в страхе перед пружинящим взмахом косы. Виден конец прокосу. А там хоть и не конец косьбе, но как отрадно положить на плечо косу и шагать по ошетилившемуся жнивью. Оно поскрипывает, подгибаясь под ногами. Словно всхлипывает в тихом горьком плаче за судьбу цвета и семени. А ты рад сделанному твоими руками, наслаждаешься минутным отдыхом. И столько уверенной силы прибавляется, что готов махать косой бесконечно долго, позабыв об усталости.

Шли настороженно, а я с любопытством рассматривал дома и улицы чужого города. Откуда-то из глубин памяти, как наяву, вставали дали родного села, речка в голубой дымке, такая близкая родная, сверкающая гладью на солнце, заливной луг с запахами зеленой сочной травы и ласковым теплым ветерком. Понарамное видение родного уголка из мирной жизни, который не привыкли ценить в другую пору, на фронте до боли обостряет тоску. Увижу ли я еще все это?..

Тяжело дыша, позади шагали пожилой и грузный солдат Васин, а рядом – высокий тонконогий Соколов. Голенищи керзовых сапог у него были не по ногам широкие и потом издавали двойной звук: резкий – от топота по камням и хлюпающий – голенищам. Третьим был молодой солдат Петя Нечаев. Мы внимательно оглядывались по сторонам, осматривали задворки, сады и двигались пока без задержки.

Вправо между домами открылась узкая затененная улочка. Метрах в ста она тупо обрывалась изгородью в кирпичных столбах. Мне показалось, что в глубине улочки кто-то промелькнул.

– Быстро, ребята, проверьте кто там? – приказывал я Васину и Соколову и они побежали.

Петя Нечаев все пытался опередить меня, заглядывал во все уголки, а лицо выражало недовольство, что нет противника и ничего не известно о нем. Признаться и меня это беспокоило, но я делал вид. Что все идет как надо.

Хотя Нечаев появился во взводе еще под Будапештом, для нас все еще был новичком. Кроме того, удивительно мало в нем было солдатского. Подростком выглядел, вытянувшимся и угловатым в движениях.

Гимнастерка на плечах свисала, и, казалось, не плечи ее удерживают, а помятые погоны. Ворот ее был настолько широк, будто в него взяли и вставили длинную Петину шею с запасом на будущее. У него и шинель была не по-росту, и автомат висел низко. Удивляли, а порой просто поражали какой-то откровенной наивностью и вопросительным ожиданием глаза: ясные, синие, круглые, как будто кто-то нарочно обвел их небесной синевой. А когда он слушал товарищей, или просто что-то разглядывал, длинные ресницы вздрагивали, темные брови в задумчивости хмурились, верхняя губа чуть-чуть приподымалась. Это делало его лицо по-детски удивленным, беззащитным, а тихая улыбка – стыдливым и смущенным.

Ему недавно исполнилось девятнадцать лет. Нет, он не был робким. И слабым его нельзя назвать. Он уверенно чувствовал себя в бою. Был исполнительным. Фронтные невзгоды переживал стойко. А вот гибель товарищей в его глазах вызывала такую боль и тоску, что яркая синева покрывалась мутью, уголки рта опускались, он очень страдал, страдал мучительно, болезненно. На разрушения и сожженные дома глядел растерянно. Сознание не могло мириться со всем, что несла людям война. Горе и беды всех, кого она опалила, жгли нестерпимым огнем ненависти и жалости его молодое сердце.

Над переживаниями его не подсмеивались, никто его не вышучивал. Скорее каждый выражал готовность ободрить, отвлечь от тяжелых мыслей. Петю любили во взводе. Он был прост, открыт для всех, готовый прийти на помощь товарищам, делился всем, что у него было, предлагал свои услуги, если даже у него не просили их.

А какая душа у паренька?! Поэтическая! Он очень много знал стихов, умел и любил их читать. Его всегда внимательно слушали. Во время затишья в боях, на привалах к нему часто присаживались солдаты и просили:

– Петя, расскажи что-нибудь. Он охотно соглашался. Около него плотным кольцом усаживались поудобнее, умолкали, ждали. А он начинал тихо, просто, задумчиво и печально:

«...И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул...»

Строки лермонтовской поэмы были созвучны с душевными переживаниями бойцов, оторванных от родины, родных и близких, заброшенных войной в страны Европы. В такие минуты даже взводные балагуры затихали. Каждый думал о своем самом дорогом и заветном, терзаясь сомнениями о возможной удаче выжить в этой дикой пляске огня, металла и крови. Тень войны закрыла дома для многих навсегда...

Мы двигались по улице. Я то и дело просил Петю не забегать вперед, боялся за него. Поспешность и неоправданная лихость могли обернуться трагедией.

На войне нельзя обойтись без гибели солдат, а осмотрительность, расчет, умение смело, но с обдуманым риском действовать в бою не сразу приходит бойцу. Не только я, все во взводе бережно относились и старались помочь

овладеть фронтовой солдатской мудростью этому чувствительному юноше. Хотя разница в возрасте между нами всего четыре года, он казался мне совсем подростком, случайно оказавшемся на войне, а не солдатом. Он чувствовал, что о нем так думают и не восставал против такого мнения о себе. Но переживал. Надо было видеть с какой завистью он украдкой поглядывал на бывалых и дюжих солдат.

Петя стойко нес боевую службу, просился на трудные и опасные задания. Делал это скромно, тихо. Не как другие. Подойдет, бывало к лейтенанту и попросит:

– Пожалуйста, товарищ лейтенант, пошлите меня в боевую группу на задание. – Скажет совсем не по-солдатски, подождет ответа, посмотрит выжидательно синими круглыми глазами, отойдет в сторонку и все глядит и глядит на лейтенанта. И такая мольба во взгляде, что Савин не выдержит, накричит для порядка, или отвернется, ухватится за планшетку и начнет рассматривать карту, или перебирать бумажки в ней, а то как будто по срочному делу заспешит куда-то.

Но иногда Петю посылали на задания, только с бывалыми и осмотрительными солдатами взвода. В таких случаях Савин всегда наказывал старшему, чтоб за Нечаевым присматривали и сдерживали от излишней активности.

Во взводе помнили и рассказывали новичкам, как однажды Нечаев, возвращаясь из разведки, принес на руках маленькую, лет четырех, девочку. Эта история потом стала известна в полку, и над лейтенантом Савиным подсмеивались офицеры:

– Ну как, лейтенант, кем взвод пополняешь? Говорят дочерей полка имеешь? Они не мешают воевать? Не взвод у тебя, а интернат. Может невест растишь? Однако, весело воюешь.

Выслушивая шуточные вопросы и замечания товарищей, Савин смущался, недобрым словом вспоминал Нечаева, оправдывался, а чаще смеялся вместе со всеми. Шутки были беззлобными и лейтенант терпел их. Да и как не терпеть? Будешь сердиться – изведут. Шутки превратятся в насмешки. Порой, после тяжелого боя или утомительного перехода шутка и веселый смех снимают усталость, а перед боем – поднимают настроение.

А было это недалеко от венгерского города Секишфехервара. Наши полки тогда весь день, даже несколько дней, преследовали отступающего врага. Недалеко от сожженной деревни было приказано приостановить наступление, чтоб дать отдых. Люди выдохлись. Взвод расположился около какого-то полуразрушенного сарая. Была дана команда замаскироваться, огня не разводите, хотя подмораживало.

Вперед, по приказу комбата, Савин послал трех бойцов, среди них и Петю Нечаева, разведать где немцы, оставлена ли ими деревня. Они не раз устраивали провокацию: разрушат, сожгут населенный пункт, а за развалинами устроят засаду.

День клонился к вечеру. Падал снежок. Деревня недалеко. Незаметными подойти было трудно, но можно. До нее по склону гряды тянулись сады.

Разведчики сначала прячась, потом открыто прошли вдоль деревни, внимательно присматриваясь. Немцев не было, жителей – тоже. Их, наверное, угнали немцы. На месте сгоревших домов поднимался жиденский дымок. В холодном воздухе стойко держался запах гари.

Уже возвращаясь, Петя услышал во дворе одного из уцелевших домов не то стон, не то всхлипы плача. Он остановился, сначала заглянул во двор, потом осторожно, держа автомат наизготовке, вошел.

Посреди двора лежала женщина, раскинув руки, а рядом сидел ребенок. Наверное он долго тут был. От холода даже плакать не мог, только всхлипывал, да тянул окоченевшими ручонками женщину за одежду. На Петю он посмотрел отсутствующим взглядом без страха и интереса, и опять нагнулся к женщине. «Наверное мать. Но почему их бросили?» – взволнованно подумал Нечаев. Женщина была мертвая. В широко открытых глазах, в волосах, на посиневших губах поблескивали снежинки. У головы темнело пятно крови. Он потом рассказывал, что трупов на дорогах видел не мало. Они всегда вызывали у него жалость. А эта женщина его потрясла. Тошнотворный комок подкатился к горлу, на какой-то миг он обессилел. «Гады проклятые! Что творят в звериной злобе.» – возмущаясь, подумал он. Откуда-то изнутри поднималась жгучая ненависть, его знобило как в лихорадке.

Он обошел двор, заглянул в дом. В комнатах все разбросано, двери раскрыты, стекла в окнах разбиты. «Грабли, мородеры.» – решил Петя. Он вернулся и взял ребенка на руки.

Из-под капюшенчика выбились темные волосики. Ручки как льдинки холодные. Тельце вздрагивало. Верхняя губа под носом влажная. А от глаз по щекам протянулись мокрые дорожки. Из-под пальто выглядывала оборочка цветастого платица.

«Бедная девочка! Она еле жива от холода!» – подумал Петя и сердце его стиснуло жалостью к ребенку. Она не сопротивлялась, не плакала, только всхлипывала, да оглядывалась кругом.

Нечаев поправил на плече автомат, расстегнул верхние крючки шинели и спрятал ручки девочки у себя на груди. Почувствовав тепло, она прижалась к нему, опустив головку на его плечо, перестала всхлипывать, только вздрагивала. У нее не было страха перед незнакомым человеком. Детским умом не могла постичь свою беду. Нечаев не мог представить и понять как ребенок пережил все, что здесь произошло. В маленьком дрожащем тельце девочки и физические силы были на пределе.

Петя снял варежку и внутренней байковой подкладкой осторожно вытер лицо девочки.

Он вспомнил младшую сестренку, такую ласковую и дорогую сердцу пухленькую хохотушку. В груди что-то больно сжалось, в носу засвербило. Глаза наполнились непрошенной влагой. С трудом одолев нахлынувшие чувства любви и щемящей тоски по родным и жалости к осиротевшему ребенку, он тяжело вздохнул и направился к воротам.

Девочка словно очнулась, подняла и повернула голову в сторону оставшейся на снегу неподвижной матери, что-то залепетала, попыталась вытащить ручонки оттолкнуться от Пети, чтоб соскользнуть на землю. Он не дал ей сделать это и прижал к себе еще теснее.

Нечаев поспешно вышел на улицу, огляделся еще раз с надеждой не покажется ли кто из жителей. Но улица была так же пустынна, и он пошел вслед за товарищами, осторожно ступая, крепко прижимая одной рукой автомат, а другой – девочку. Так он и появился во взводе.

Старшим в разведке был Васин. Он доложил, что в деревне нет ни немцев, ни жителей. Савин слушал, а сам с удивлением посматривал на Нечаева с девочкой. Нам было тоже интересно, и мы плотным кольцом обступили их.

Петя устал держать девочку на руках, присел на лежащее рядом бревно, а ее усадил на колени, волнуясь и путаясь рассказал как у него оказался ребенок.

Девочка испуганно глядела на солдат, а мы, перебивая друг друга, обращались к ней нежно и ласково. Она пугливо озиралась, вскидывала глаза на Петю, прижималась к нему, пыталась спрятаться за него, не понимая наших слов, а он гладил ее рукой по головке и спинке.

Нечаев оглядывался на лейтенанта, а тот едва перемогал ругань и гнев, крик, видел сочувственные взгляды и жалость солдат к ребенку, да и сам в душе разделял их чувства, обрывал свой гнев. Петя смущенно и виновато бормотал про себя, надеясь на нашу поддержку:

– А что мне было делать? Оставить ребенка в безлюдной деревне? Она же замерзла бы!

Командир взвода доложил обо всем комбату. Девочку накормили солдатским ужином, напоили сладким чаем, и уж в темноте, по приказу комбата Нечаев отнес ее в санчасть полка. Она располагалась недалеко в небольшом лесочке.

Что было с ней потом, мы толком не знали. Правда, лейтенант говорил, что ее оставили у хороших людей в каком-то венгерском селе.

О, если бы знать что случится! Если бы мог человек хоть немного, хоть на несколько часов заглянуть вперед и увидеть что будет. Увидеть скрытую временем картину грядущего. На сколько точнее, прямее, вернее был путь человека по жизни. Но не дано такого вещего озорения людям. А может это и лучше для людей?..

Мы остановились, чтоб подождать Васина и Соколова. А Пете не хотелось задерживаться. Нетерпение подстегивало его, чтоб двигаться. Как наэлектризованный он излучал энергию перенапряжения и жаждующий действий, светился внутренним светом. Я любовался им и испытывал какое-то беспокойство. Тревога и щемящая боль сжимали сердце.

«Не случилось бы чего. Как бы кого не зацепило!» – с тоской думал я, всматриваясь в улицу, а сам все размышлял об этом, полюбившемся всем пареньке, припоминая его скупые рассказы о себе.

Он сибиряк. В небольшом городке, где-то между Челябинском и Омском живет его мать – учительница с двумя младшими сестренками. Отец погиб в

сорок втором. О родных Петя хотя и мало, но рассказывал, а о себе говорить не любил. Но как-то однажды разоткровенничался и, стыдливо краснея, сказал, что не только любит читать, но и пишет стихи, что они часто появлялись в школьной стенгазете, нравились учителям, ребятам, а девочки – одноклассницы с каким-то особым вниманием поглядывали на него, что его стихи даже в городской газете печатали. Рассказал, а потом просил, чтоб я об этом никому не говорил. Я успокоил его, дав слово молчать как рыба. После того разговора, бывало, когда во время перерывов между боями, вспоминали о книгах, стихах, песнях Петя настороженно смотрел на меня, как бы напоминал: «Не проговорись, слово давал!»

Его все интересовало. Он внимательно наблюдал жизнь и быт людей в Венгрии, еще с большим вниманием приглядывался ко всему в Чехословакии и готов был часами слушать разговор словаков. А мы понять не могли его увлечение, рассуждали между собой, пожимая плечами: «Говорят люди, что тут особенного? Мы тоже говорим. Разве звук слов важнее смысла?» а он еще украдкой делал какие-то записи в толстой тетради, и никто не знал что он пишет в ней.

Но был и другой Петя Нечаев. В бою он менялся, делался нетерпеливым, резким в движениях. Сжимался как тугая пружина. Казалось, дотронься до него – зазвенит. Пальцы на автомате белели от напряжения, из-под нахмуренных бровей синие глаза сверкали холодным блеском. Присматриваясь к Пете Нечаеву, к другим солдатам в бою, после боя, на отдыхе или в походе я видел какие они разные. Им свойственно добро и зло, участие и безразличие, любовь и ненависть, чувствительность и холодность. Для всех них глубина сердца безмерна. Бесконечно много чувств может выплеснуть оно. Неизмерима душевная широта наших людей. Ни один народ в мире не может сравниться с русским народом. Ему протivoестественна жестокость. Он милосерден. Вот и Петя как не ожесточался лютой ненавистью к врагу в бою, после боя его сердце оттаивало и весь он становился открытым людям.

Мои размышления прервал Васин и Соколов, догнавшие нас.

– Что там? – спросил я.

– Да ничего особенного. Какой-то мужчина бегают, стучится, звонит к соседям и сообщает, что пришли русские. Сказал, что он скульптор, а фамилия не то Майерский, не то Майорский, разве разберешь. Да мы и не спрашивали фамилию. Это он сам представился нам. Обрадовался. – ответил Васин.

– Приглашал нас в свой дом. Хотел вином угостить. – добавил Соколов. – Уж так радовался встрече. Братьями называл.

– А вы что? Ты, Соколов, поди пооблизывался? – Солдат обиделся, отвернулся, хотел что-то ответить, да только рукой махнул.

– А что мы? Спросили про немцев. Он сказал, что по центру города третий день идут машины, а на этих улицах не видели. – отвечал Васин, с улыбкой поглядывая на Соколова, что-то недоговаривая. Он достал из кармана бумагу и табак, неторопливо скрутил самокрутку и задымил. Мы с

Соколовым тоже закурили. Глубоко затягиваясь, по привычке прятали папироски в руке, наслаждаясь едким и горьким табачным дымом, а Нечаев нервно поправлял автомат, недовольно глядел то на нас, то настороженно по сторонам.

Я потом ругал себя за этот перекур. Может все было бы по-иному.

Со стороны Дуная повеяло ветерком. Блестящие в лучах солнца молодые листья на деревьях зашелестели, нежным и робким шепотом напоминали нам о раскрывающемся беспечно над городом радостном и светлом весеннем дне и притаившейся между каменными домами опасности. Вьющийся виноград укрывал стены дома, напротив которого мы остановились. Дом выглядел безлюдным. Он спрятался за яркой зеленью сада и будто выжидал терпеливо что принесет ему наступающий день прожорливой войны. Останется ли он стоять и служить людям, или она в своей ненасытной злобе превратит его в груды развалин.

– Пошли дальше, – обратился я к своим спутникам. Виллы сменили большие дома. Мы приближались к центру города. Была пора соединяться со взводом.

В полусотне метрах из-за деревьев выскочили три грязно-зеленые фигуры и скрылись за соседним большим домом.

– Немцы! – крикнул Петя и со всех ног бросился вслед за ними. Я побежал за Нечаевым. Васин и Соколов метнулись наперерез с другой стороны дома. Все произошло очень быстро.

Петя, не оглядываясь, завернул за угол и увидел бегущих немцев. Он вскинул автомат. Но на какое-то мгновение раньше бежавший последним немец оглянулся, приостановился и опередил Петю. Протрещала очередь. Вскинутая с автоматом Петина рука на миг замерла и повисла в воздухе. Он, как-то неестественно нагибаясь, приостановился и медленно осел на землю.

Я подбежал и склонился над ним. Он лежал, поджав правую ногу. Рука с автоматом вытянулась вперед, а другая – с вывернутым локтем, прижата телом. Казалось, Петино тело напряглось, чтоб подняться и сделать стремительный бросок вперед. Но этого сделать он уже не мог. Он был мертв.

Гибель паренька, едва успевшего открыть пытливые глаза на этот мир настолько ошеломила и потрясла меня, что все звуки, все окружающее и это светлое утро померкли. Я не услышал выстрелов Васина и Соколова, перехвативших немцев.

Я повернул тело Пети на спину. На гимнастерке пониже ворота и у левого кармана были две маленькие дырочки. Вокруг них уже пропиталась кровь. Темное пятно медленно расплзлось по гимнастерке. Смерть наступила мгновенно. Лицо побелело. Черные брови и темный пушок над верхней губой проступили отчетливо. В стремительном беге Петя закусил нижнюю губу. Она так и не высвободилась из-под плотно сжатых зубов. И даже мертвое лицо солдата выражало неудержимый порыв.

Как-то во взводе зашел разговор о героях, о подвигах. Припомнили много случаев из боевой жизни полка, когда по примеру отважных подразделения

бросаются на врага и решается, казалось бы невыполнимая задача. Нечаев внимательно слушал всех, а потом задумчиво и тихо сказал:

– По-моему, ребята, такое можно сравнить с пулеметной очередью трассирующими пулями. Как за яркими светящимися нитями невидимым он смертоносным дождем летят простые, но такие же губительные пули, так и за первыми поднявшимися в атаку героями следует стремительный натиск на врага солдатской лавины.

Мне тогда его сравнение показалось надуманным. А вот сейчас, перед его безжизненным телом

я понял, что этот скромный, незаметный и нескладный юноша был сильным духом, смелым и отважным, способным на подвиг. И только что в стремительном броске за немцами он думал только об одном: не дать врагу уйти.

Подошли Васин и Соколов. Остановились, молча сняли пилотки и склонили головы.

– Беда-то какая! – с горечью вымолвил Васин. Мы с Соколовым подавленные молчали. У меня в горле как комок застрял и сдавил дыхание. Душили слезы...

Смерть Пети Нечаева потрясла всех солдат взвода. Лейтенант Савин зло и грубо обругал меня, что я не уберег, не сдержал Нечаева. А разве можно в бою угадать кого и когда могут убить? Кого и как надо беречь и сдерживать? И что это значит беречь и сдерживать при схватке с врагом? Петя не мог оставаться позади всех и ждать, когда появившихся немцев уничтожит Васин, Соколов или я.

За годы войны я видел гибель многих наших солдат. Горечь и жалость безвременной утраты человеческих жизней жгла и вызывала сострадание. А смерть Пети Нечаева ошеломила. Я не мог, не хотел верить тому, что не блеснут синевой Петины глаза, не зазвучат в его устах лермонтовские стихи, не улыбнется он тихой застенчивой улыбкой и никогда его не будет с нами.

В Петинем вещмешке были тетради с его записями, а в кармане гимнастерки – письмо от матери, полученное накануне, на которое он успел ответить. Тетради и что можно из Петиних вещей, мы отправили посылкой матери, написали ей каким солдатом был и как погиб ее сын. Материно письмо я оставил у себя, перечитывал, находя в словах беспредельную материнскую любовь и страх за жизнь единственного сына, горячее желание и сознаваемое бессилие убересть его от всех бед и опасностей.

«Милый Петенька! – писала мать. – Как мы рады твоему письму! Это хорошо, что твой командир строгий и чуткий, что товарищи твои надежные, добрые и отзывчивые. Дорожи, родной, дружбой товарищей. Береги ее. Будь сам бескорыстен и верен.

Ты прав, Петенька, что кровь и разрушения видеть тяжело. Но ведь ты понимаешь кто винат в этом. Ты знаешь, кто и откуда пришел и принес нам муки, да страдания, кто отнял жизнь отцов и сыновей, братьев и сестер, осиротил миллионы детей, твоих сестер тоже, кто отнял мир и счастье у

нашего народа, да и не только у нашего. Они пришли к нам с войной, потому что им позволили развязать ее.

Там, за границей, пусть видят и испытывают на себе какую беду принес людям фашизм. И не забывают об этом.

Не щадите проклятого гада. Добивайте его скорее!

Ты, Петя, не беспокойся о нас. Я работаю. Девочки здоровы. Учатся. Оленька подросла, смешная и наивная. Во всех кинофильмах про войну все надеется тебя увидеть. А однажды на весь кинозал закричала:

– Мама, мама! Смотри, смотри! Там Петя наш бежит и стреляет из автомата! – а потом поняла, что ошиблась, заплакала. Уж так на нее было больно смотреть, так жалко было, что сама едва сдержала слезы. Очень она скучает по тебе, Петя!

Любушка учится отлично. Только вот обувь у них поизносилась, да рукавички у пальто стали короткими и узковатыми. А купить новое трудно. Но это все терпимо. Не такая уж большая беда. Главное победа близко. Хоть и много надо будет пережить горя, одолеем все и заживем еще лучше, чем до войны. Только ты, Петенька, береги себя.

А записи твои я все храню. Ты не беспокойся. Все они будут в сохранности. Я подбираю тебе книги для подготовки к экзаменам в институт. Окончится война, ты приедешь и будешь заниматься.

Ты, Петя, помнишь того пожилого работника редакции? Я фамилию его не знаю, а зовут Илья Фомич. Он недавно встретил меня, остановил и спросил о тебе. Хвалил твои стихи и просил передать, чтоб ты продолжал писать. Просил присылать в редакцию все, что еще напишешь. Он говорил, что у тебя талант. Я смутилась, даже растерялась от такого отзыва о тебе. Обрадовалась очень и как-то в замешательстве, заикаясь благодарила его.

Скоро закончится эта ужасная война. Ждем тебя дорогой, ненаглядный наш! Целуем и обнимаем тебя крепко, крепко! До встречи с Победой, родной Петенька!

Твои мама, Любаша, Оленька.»

Как больно и горько было сознавать, что этой встречи не будет, что на улице в Братиславе оборвалась жизнь этого славного юноши. А сколько еще жизней загубила война на своих кровавых полях?!

В солнечных лучах искрилась зелень садов. Яркие блики перемигивались в стеклах домов. К обстрелам и редким взрывам примешивался кое-где городской шум. Он входил в улицы осторожно и робко, тихо крался от дома к дому. Город скоро скинет эту робость, освободится от настороженности мрачных лет оккупации и зазвенит, загремит, заживет. Только Петя Нечаев не услышит этих звуков созидания, родившихся над освобожденной землей.

* * *

«...А сердце помнит...»

Моему попутчику Михаилу Семеновичу Королеву далеко за шестьдесят. Он высок ростом, широк в плечах, без лишней полноты. Лицо продолговатое, энергичное. Подбородок немного тяжеловат и придает ему некоторую суровость. А глаза добрые, внимательные и голубые-голубые. Удивительные глаза! в них все время хочется смотреть. Даже возраст не отбелил их. Из-под кустистых бровей и сети морщин они сияют словно небесным светом. Не часто у пожилых людей сохраняется такой блеск в глазах. Туманит их многолетняя усталость и заботы. И хотя годы оставили заметный след на лице моего соседа, он все еще представительный, видный мужчина, бодр, полон сил.

В молодости Михаил Семенович был, наверное, очень интересным. Не одно девичье сердце сохло по статному, красивому парню. Но время неумолимо. Его не остановить и не обратить вспять. И ведет оно по застолбленной годами дороге к неотвратимому концу...

Лет пять назад Михаил Семенович стал пенсионером. С той поры мало бывает дома: то навещает внуков, то фронтовых друзей.

Раньше я не раз встречался с ним на совещаниях. Если случалось вместе ночевать в гостинице, много разговаривали. Я любил слушать его неторопливые рассказы о войне, героической молодости его поколения, о мужестве и отваге сверстников в военное лихолетие.

А в этот раз мы случайно повстречались на вокзале в Челябинске, оба обрадовались встрече, присели на скамейке, задали несколько встречных вопросов, а тут объявили посадку на нашу электричку.

– Погостили у сына, говорите? – оглядываясь и устраиваясь в вагоне, спросил я.

– Погостил. С внуками пообщался. Знаете, скучаю, если долго не вижу их.

– А сколько их у вас?

– Всего семеро. Интересные ребята растут, общительные, развитые. Слушать очень любят, особенно о войне. От одних вопросов «почему», да «как» - голова кругом.

– Дед – фронтовик – это гордость для внуков, Михаил Семенович. Они каждое слово ваше о войне ловят и слушают затаив дыхание.

– Что мои слова. Книг, кинофильмов о войне вон сколько много.

– Конечно много. Только живые участники – это совсем другое. А их становится все меньше. То, что написала война на их теле и хранится у них в памяти, книги и кинофильмы не расскажут. Каждый солдат по-своему пережил войну. Я как и ваши внуки люблю слушать рассказы о фронтовой жизни. А вы хороший рассказчик, многое повидали. Вам есть что рассказать... Что-нибудь интересное рассказали бы.

– Какой я рассказчик – хороший или плохой – судить не могу. А интересного в той жизни, на грани жизни и смерти, не много. Солдату и выжить хочется, и приказ надо выполнить. А это совсем не просто. Не

пролетит мимо маленький кусочек стали – и нет солдата, или калека-инвалид. Это нынешние молодые люди считают какой-то романтической фронтовую жизнь. Как будто война – романтика, приключения. А там все не так легко и просто было. Бежать вперед на последнем дыхании в грохоте разрывов снарядов и свисте пуль, или лежать под бомбежкой, когда сверлящий вой падающих бомб и их оглушительные взрывы вдавливают в землю онемевшее тело – невыносимо страшно. Видеть гибель товарищей и выполнять кровавую работу – это не романтика, это душегубство на крайнем пределе человеческого разума. Какие уж тут приключения, когда «пляска смерти» кругом. Война штука жестокая и беспощадная. Какая уж то жизнь...

Электричка простонала, словно от перенапряжения усилий и заскользила по рельсам. Михаил Семенович рассеянно осмотрелся вокруг, глубоко задумался. По морщинистому лицу пробежала тихая, какая-то страдальческая улыбка, глаза слегка увлажнились, как будто в памяти приподнялась завеса над картинами прошлого. А каких их было больше радостных или грустных? Человеку, прожившему большую жизнь, всегда есть что вспомнить, о чем задуматься. Он повернулся ко мне и начал неторопливо:

– О войне рассказано конечно много. И правда, что у каждого солдата своя военная биография. Дороги разные. Вон он какой фронт-то был. Тысячи километров, десятки стран Европы на боевом пути русского солдата. Все хлебнули лиха.

Я воевал на своей земле, в Румынии, Югославии, Венгрии. Но особенно памятна Чехословакия. Там судьба оделила на всю жизнь счастьем, да и несчастьем тоже.

– Как же это счастьем и несчастьем? – спросил я.

– Бывает, вот. Только это личное. Какой вам интерес?

– Если не секрет, расскажите.

– Да какой секрет через сорок лет. – Михаил Семенович развел руками, грустно, нерешительно усмехнулся. – По Чехословакии продвигались мы быстро. Немцы на нашем участке сопротивлялись вяло. И вот ранним весенним утром мы завязали бои на окраинах Братиславы. Вы, случаем, не бывали в Чехословакии?

– Нет, не приходилось.

– Красивая страна! И народ хороший. Советских солдат встречали как родных. Было много цветов, улыбок, объятий. Угощали чем могли. Обижались, если кто-то отказывался. А разговорчивые...звонкоголосые! Уж очень оживленно разговаривают. Не даром ребята говорили: «Наш брат, - славяне». – Только вот не довелось долго воевать в этой прекрасной стране. В Братиславе и закончился мой путь на запад. Война закончилась и вообще...

– Мне показалось, что его что-то встревожило, шевельнуло прикрытую годами, как тяжелым пологом, память сердца, опаленную войной. Он приумолк.

– Почему закончился-то? Расскажите.

На скамье рядом со мной сидели девушка и молодой парень. Они оживленно разговаривали, на нас не обращали внимание, заняты были собой и ничего вокруг не замечали. Девушка часто смеялась, то и дело прикрывая рот рукой, не спускала восторженных глаз с парня. В ее взгляде было столько озорства, лукавства и нежности, что я позавидовал парню.

Рядом с Михаилом Семеновичем, расстегнув пальто и развязав платок, широко, по-хозяйски разместились пожилая женщина. Она отделилась от него большой корзиной, и, освободив из-под платка ухо, слушала что говорили знакомые, сидящие по другую сторону прохода. Время от времени и она вставляла в разговор короткие фразы, как палки вечно втыкала в рыхлую землю и зорко посматривала на собеседников, оценивая их внимание. Соседи не мешали нашей беседе.

– Братислава очень красивый город! Кругом сады. В них прячутся нарядные виллы и будто стыдливо краснеют черепичными крышами. Кругом много цветов. Высокие дома блестят стеклами окон. Все интересно, да только времени не было любоваться красотой города.

Как сейчас вижу, два небольших дома, соединенные аркой. Ворота раскрыты. Товарищи пробежали вперед, а я свернул под арку, миновал ее и приостановился, чтоб осмотреться и убедиться, что немцев нет. В глубине двора стояло еще несколько домиков. Кругом тихо, спокойно. Не обнаружив ничего подозрительного, я повернул было назад, чтоб догнать товарищей, но в тот самый момент рядом что-то упало и подкатилось к ногам. По длинной деревянной ручке я понял, что это граната, но даже ногами переступить не успел, как уши сжало взрывом. Меня толкнуло в левый бок, в глазах потемнело, земля ушла из-под ног. Вокруг все стихло и покрылось мраком. Я не успел почувствовать ни боли, ни едкого запаха взорвавшейся гранаты, как этот мир угас в сознании...

Михаил Семенович правой рукой потер лоб, а потом тихо продолжил:

– Сколько прошло времени – я не знаю. Очнулся от боли в левой ноге, боку и руке. В глазах мелькали круги. Они то сходились, то расходились. В ушах звенело, голова кружилась, подступала тошнота. Попытался – опять все померкло: и свет, и боль, и звуки...

...И вдруг, как сквозь сон, послышался знакомый голос, такой родной, что все во мне сжалось от радости. Хотелось смеяться и плакать. Сначала словно в тумане, а потом как наяву, я увидел родной дом, крыльцо с навесом и точеными столбиками, все наше подворье, и будто стою я босиком на тропинке в огороде, а у калитки мать. Она потянула ко мне узловатые, огрубевшие от тяжелой работы руки. Казалось, они дотянутся и вот-вот коснутся меня. Я даже почувствовал их запах: смеси парного молока и горячего, только что испеченного на поду печи хлеба и еще чего-то домашнего.

Я увернулся от протянутых материнских рук и побежал вниз по огороду. Мелькали грядки, одетые зеленью. Листья хватили за ноги, шептали что-то беззлобно вслед, сгибаясь и выпрямляясь. А широкие как крылья

фантастической птицы, распластавшиеся на земле – потрескивали, словно сама загадочная птица с округлой головой, возмущалась от боли и обиды.

За огородом под низко опустившимся туманом плескалась чуть слышно вода. В густой траве на берегу лежал, будто выросший вместе с травой большой камень, на котором я любил сидеть и смотреть на речушку, ловить на слух частые всплески мелких рыбешек и едва уловимое журчание. Я подбежал и опустился на него, замирая от нежной теплоты его гладкой поверхности. Как хорошо все вокруг!

Но вот эти картины волнующего и щемящего сердце детства отделились, исчезли, сознание прояснилось. Я пришел в себя и уже наяву почувствовал, как маленькая вздрагивающая рука касалась лба, поправляла волосы, ворот гимнастерки. Прикосновения осторожные, нежные. Я открыл глаза и увидел встревоженное девичье лицо. Я еще был там, в детстве, дома, среди родных картин и звуков, а тут другое. Все сместилось и спуталось в воспаленном беспомыслии мозгу и с трудом прояснялось. Близко, близко были черные горящие глаза, полные тревоги. Я слышал учащенное волнением дыхание, видел в глубоком вырезе платья стесненные округлые девичьи груди. Темные волосы девушки рассыпались, казалось, вот-вот накроют меня. Я даже почувствовал их прикосновение. Яркие, по-детски припухшие губы, шевелились. Девушка что-то говорила, но я не мог разобрать слов, в недоумении обводил глазами комнату.

Из окна падал колеблющийся зеленоватый свет. То ветер раскачивал ветви деревьев за окном, а их листья подкрашивали солнечные лучи и играли ими. В комнате было сумрачно, прохладно и стояла густая тишина, какая бывает, наверное, в домах, где нет детей.

Я лежал на полу. Под головой что-то подложено. Попытался пошевелиться. Острая боль в ноге, от которой потемнело в глазах, вырвала невольный стон.

– Тихо, тихо! – прошептала девушка и жестом показала, чтоб я лежал спокойно.

– Как я попал сюда? – обращался я к ней. Она качала головой, мягко выговаривала какие-то слова, растерянно и жалостно смотрела на меня.

Брюки на мне были разрезаны на левой ноге, нога перевязана, рука и рана в боку тоже. Когда и как меня перенесли в дом, кто это сделал, кто перевязал – я не помнил. Я с трудом поворачивал голову и в тревоге осматривался по сторонам. Автомата и ремня с подсумками не было. «Беспомощен, безоружен! Вот это обстановочка! – думал я. Подкрадывался страх, тело покрылось испариной. Снова попытался подняться, вопросительно смотрел на девушку. Она, наверное, поняла мое беспокойство, жестом руки заставила лежать не шевелиться и показала в правый угол комнаты. Там, на расстоянии вытянутой руки, или чуть подальше, аккуратно сложенные лежали автомат, ремень, а сверху – пилотка. Я облегченно вздохнул.

А девушка застенчиво улыбалась. В ее улыбке, движениях было что-то детское, угловатое, и, вместе с тем, влекущее. Ее ласковый взгляд каким-то

неведомым путем проникал в мое существо, успокаивал, ободрял и тревоги отступали. Я смотрел на нее и тоже улыбался, хотя, наверное, улыбка моя была вымученной. Но я был молод. Молодость оставалась молодостью и на войне. Вот ведь как. На теле раны. Их боль туманила сознание, а присутствие молодой красивой девушки снимало боль. Охватывало непонятное душевное волнение. Откуда-то из глубины, от самого сердца поднималась нежность к ней. Я радовался, хотя не понимал почему...

Михаил Семенович говорил тихо, задумчиво, доверительно.

– На войне, если случается, влюбляются быстро и любят горячо, до самозабвения. Сердце раскрывается с какой-то торопливостью. Наверное, боевые условия тому причина. Ведь в любой момент все может оборваться. Очень трудно задумывать наперед, мечтать, строить какие-то планы. Еще как она, война распорядится!

Мне хотелось, очень хотелось смотреть на девушку, любоваться ею, дотронуться, коснуться ее лица, пышных волос, хотелось... многое что хотелось, но боль отвлекала, а еще больше усиливающаяся с каждой минутой жажда. Во рту пересохло. Губы стали сухими, жесткими, язык – шероховатым, словно его рашпилем продрали.

– Дайте воды, пить дайте! – Мне казалось, что я говорю громко, но она или не разобрала, или не поняла моих слов и наклонилась ближе.

– Пить!.. Пить!.. – повторил я несколько раз, с каждым словом труднее ворочая языком. Она выпрямилась и поспешно ушла.

«Неужели не поняла? – тревожно подумал я. От этой мысли жажда стала еще невыносимее. Сделал еще попытку приподняться, но смог только опереться на правую руку и от обжигающей боли опустил ее.

Как мучительная жажда и боль, беспомощность и неизвестность! Взят ли город? Как попасть в медсанбат? Передвигаться не могу, а найти меня не смогут. Кто эта девушка? Почему я оказался у них в доме? А тут еще жажда так мучит.

Скрипнула дверь. В комнату с кувшином и бокалом вошла молодая хозяйка, а за ней старик в безрукавке и белой рубашке. Но мне было не до него. Я неотрывно смотрел на кувшин и больше ничего не замечал. Девушка приближалась. Я следил за ее движениями и облизывал пересохшие губы.

Вода! Бывают минуты, когда вода жизни дороже. За один глоток все отдашь, не пожалеешь.

Девушка налила бокал, опустилась на колени, приподняла мою голову, подсунув по нее руку и поднесла бокал к губам. Казалось, я никогда не пил такой воды. С каждым глотком мученья жажды слабели, даже боль отступала, все окружающее светлело, а девушка смотрела на меня, тихо улыбалась, да встряхивала головой, чтоб откинуть волосы, спадавшие на лицо. Когда наши глаза встретились, ее щеки чуть-чуть розовели. Она поджимала губы и торопливо взмахивала ресницами, опускала глаза, стараясь скрыть смущение.

Одним духом я осушил бокал. Она налила второй. И его я выпил, только потом стал разглядывать старика, который молча стоял у окна. Понимаете,

как сейчас вижу за ушами у него белые, как пушинки, волосики и блестящую лысину. А черты лица стерлись в памяти.

Михаил Семенович замолчал, посмотрел в окно, потом на соседей по вагону, достал платок из кармана, вытер капельки пота на лице и тяжело вздохнул.

– А что было потом, Михаил Семенович? – спросил я. Интерес к рассказу старого солдата, оказавшегося в необычном положении, возбуждал любопытство, потому я испытывал нетерпение при каждой паузе и подгонял соседа.

Потом?.. Хорошими людьми оказались хозяева дома: простыми, внимательными, сердечными. Не подобрали бы они меня, не перевязали, неизвестно что со мной стало бы. Крови много потерял.

Старик был дедом девушки. Ее звали Марией. Дед называл Марьянкой. Это уж мы потом познакомились. А меня она называла. Мягко выговаривая, Мьиша! Чудно и непривычно, а в ее устах звучало красиво и ласково.

Дед в первую мировую войну более двух лет был в плену у нас. Его освободила революция. Он говорил по-русски, да и Марьянка знала много наших слов от него, конечно.

В комнате у стены стояла кушетка. Дед пододвинул ее поближе ко мне. Марьянка принесла и положила на нее подушку, постелила простыню. А потом они подняли меня и переложили на кушетку. Режущая боль пронзила все тело. Как ни крепился, а невольный стон прорвался. Марьянка заметалась, даже прикрикнула на деда, а он испуганно разводил руками и переминался с ноги на ногу, словно мой стон оглушил его и лишил дара речи. Потом они сняли сапог со здоровой ноги, а с раненой не могли. Я попросил разрезать его. Старику было жалко портить вещь. Их ведь тоже война не обошла. Но он принес нож и, нехотя, выполнил мою просьбу.

Через повязку сочилась кровь. Марьянка с ужасом смотрела на неумело перевязанные раны, переводила полные страха глаза с меня на деда, губы дрожали. Она не могла вымолвить слова, стояла с одеялом в руках, не шевелилась. Дед слегка прикоснулся к ее плечу, успокаивая и ободряя. Она вскинула на него наполненные чернотой и слезным блеском глаза, попыталась улыбнуться, не получилось. Растерянность и жалость как тени скользнули по лицу. Она шагнула к кушетке и бережно укрыла меня...

Я слушал Михаила Семеновича, а сам думал о молоденькой словацкой девушке, окружившей заботой беспомощного советского солдата. Что побуждало ее на это? Или человеколюбие и сопереживание чужой беды, или прирожденная словенская доброта, или взрывные порывы крылатой молодости? А ее руки? Нежные, ласковые руки! Их прикосновение обжигало огнем. Он вспыхивал где-то там, глубоко-глубоко в самом сердце. А что еще на свете может быть таким ласковым, заботливым, надежным, как руки женщины! Они без страха поднимутся на защиту слабого, снимут боль, утешат в самом горьком горе и скорбной печали близкого, одарят безграничным счастьем бытия любимого. Я помнил, как в детстве

прикосновение материнских рук сушило слезы и успокаивало обиды, от прикосновения их все вокруг становилось светлым и радостным.

А что может сравниться с руками любимой. Когда они обвиваются вокруг шеи, гладят, нежно прикасаясь, щеки, а пальчики прикрывают уста, чтоб с них не сорвалось слово, способное нарушить, оборвать сладостный миг разделенной любви?!..

Сквозь монотонный гул вагона и расплывшийся в нем приглушенный говор пассажиров, донеслись неторопливые слова Михаила Семеновича:

– Марьянка о чем-то переговорила с дедом, тревожно посмотрела на меня и поспешно ушла. Старик подсел ко мне, поправил одеяло, а потом нерешительно, подбирая русские слова спросил: «Вы в городе Воронеже бывали? Какой он теперь?» Я, признаться, удивился его вопросом и ответил, что Воронеж разрушен, сейчас восстанавливается. Дед понимающе закивал головой, а потом рассказал, что когда в прошлую войну был в плену, там работал, что русские к пленным хорошо относились. А когда совершилась революция, он вместе с рабочими участвовал в демонстрациях и митингах.

– А как вернулись на родину? – спросил я.

– Нас пленных словаков разрешили отправить домой. Обменяли на русских военнопленных. Пятидесят человек обменивали. Доброе дело было. Мы радовались.

– Пятидесят человек для обмена?

– Да, да пятьдесят. Уже я позабыл русский язык.

– Скажите, дед, а где родители Марьянки?

– О, родители!.. Старик покачал головой, как-то сник и тяжело вздохнул.

– Мой сын Стефан, отец Марьянки, в первый месяц оккупации был схвачен гестапо в Праге, погиб. А мать умерла в сороковом году. Марьянке было тринадцать, тринадцать лет. Вот эти годы все живем вдвоем. Внучка подросла, работала, я маленько работал, чтоб жить полегче, только сил мало, да и работы для старика не большую найдешь по силам. Больше занят заботами по дому, да о внучке. Живем так маленько.

Старик еще долго и много рассказывал о своей не легкой жизни, расспрашивал о нашей стране, удивлялся и восхищался мощью Красной Армии. А я нетерпеливо поглядывал на двери. Почему-то долго не было Марьянки.

Вот ведь все как получилось: раны, беспомощность, а думал о девушке, думал постоянно. От дум да слабости какие-то видения появились. Казалось, я уносился к облакам и парил вместе с ними в небесной синеве, а рядом мерцали черные глаза и светилась влекущая улыбка девушки. Я будто плыл за девушкой и не спускал с нее глаз. Руки раскрывались, чтоб принять ее в объятия, а она ускользнула, все так же призывно улыбаясь. Я открывал глаза – все исчезло, закрывал – снова видел ее нежную улыбку, она приближалась ко мне, протягивала руки. Я сгорал от нетерпения и неодолимого желания соединиться, слиться в единое целое вместе с девушкой, так похожей на Марьянку, в этом стремительном полете высоко над землей, в дали от всех забот и печалей.

«Что за новождение? – думал я. – Сон? Бред?». Встряхивал головой – видения исчезали, а через некоторое время появлялись вновь.

Дед в тревоге заглядывал мне в лицо, прикладывал руку ко лбу, проверяя температуру. Он-то старый солдат знал, чем опасны раны, перевязанные кое-как, то и дело спрашивал:

– Вам плохо? Потерпите. Можете потерпеть?

– Не беспокойтесь! Маленькая слабость. То пройдет. Все нормально, – успокаивал я старика. А слабость расплзалась по телу, сковывала волю, мысли лениво тянулись и ускользали. Какой-то полусон-полуявь. Говорят, что такое состояние бывает у раненых после большой потери крови.

О многом думал я, лежа на кушетке, когда становилось маленько полегче. Думал о ранах, о том, как попасть в госпиталь или в медсанбат, о боевых друзьях. Где они и что с ними? Живы ли?.. Думал о Марьянке. Уж очень по сердцу пришлась она мне. В школе и перед уходом в армию многие девчонки нравились, но чтоб так, как Марьянка, такого не было. В мыслях представлял близость, видел ее рядом с собой, стройную, гибкую, ласковую, как зауральскую молодую березку, нежно и трепетно шелестящую зелеными листочками. О чем только не мечтал! а ведь понимал, что это все нелепо, заставлял себя не думать о ней. Разумом понимал несбыточность грез, а сердце не мирилось. Чем больше убеждал себя не думать, тем больше думал...

Отворилась дверь. Пришла Марьянка, покрасневшая и оттого еще более красивая, а за ней вошел пожилой мужчина в очках и шляпе с маленьким чемоданчиком в руках. Она быстро и внимательно взглянула на меня, а он снял шляпу и поклонился. Приветствуя нас с дедом. Марьянка о чем-то переговорила с дедом и увела его в другую комнату, оглядываясь на нас.

– Санчасть вашу не нашла. Врача привела. Хороший врач. – пояснил старик, а через минуту, вытирая на ходу руки, возвратился из соседней комнаты врач, за ним следом Марьянка.

По дороге она ему, наверное, обо всем рассказала, так как он ни о чем не спросил, присел на освобожденный дедом стул. Привычным движением прикоснулся ко лбу, проверяя температуру. Неторопливо открыл чемоданчик, достал и разложил на подставленный Марьянкой стул инструменты, склянки только потом откинул одеяло и осторожно стал разматывать повязки.

Пожалуй, только Марьянкино присутствие удерживало меня, чтоб не кричать от ужасной боли. Врач чем-то смазал раны, забинтовал их. Боль мало-по-малу стала затихать. Он повернулся к деду и что-то сказал. Я понял, что речь шла о госпитале. Дед перевел, тревожно глядя то на меня, то на Марьянку: «Рана на ноге опасная. Повреждена кость. Осколок застрял в кости. В госпиталь надо. Нужна операция».

Врач собрал инструменты, не много поговорил с дедом и Марьянкой. Она молча слушала и кивала головой. Он ободряюще посмотрел на меня, улыбнулся, будто хотел сказать: «Крепись, солдат!». Помахал на прощание

рукой и направился к выходу. Дед вышел за ним. Марьянка подобрала снятые повязки и унесла.

Прошло немного времени. Она вернулась и под села ко мне. После перевязки мне стало легче. Раны в боку и руке перестали беспокоить, только нога побаливала. По телу расползлась слабость. Лицо покрылось потом. Он скатывался к глазам. Я здоровой рукой смахивал его. Марьянка отвела мою руку, мягким платком стала вытирать сама.

Пальцы ее нежно касались моего лица и вздрагивали. Через прикосновение их, как через проводнички, шло что-то желанное, приятное и сердце от этого стучало громче и радостнее. Очень хотелось, чтоб прикосновения не прекращались.

Весь день Марьянка не отходила от меня. Да что день! Они с дедом ночевали в комнате, где я лежал. Стоило мне пошевелиться, как кто-то из них оказывался около моей постели и тревожно всматривался в лицо. А если я открывал глаза, озабоченно спрашивали как я себя чувствую. Все боялись не поднялась бы температура.

Утром Марьянка сменила повязки на руке и боку. Ногу врач не велел трогать, а потом поила меня горячим черным кофе и говорила убежденно, что он восстанавливает силы. Я не верил этому, но чтоб не обидеть ее, с серьезным видом пил. Только если бы кто-то другой подавал чашечку с этой горьковатой жидкостью, не стал бы пить. А я смотрел на нее и не замечал горести напитка, поспешно глотал его, не мог отвести взгляда от лица девушки...

В окно заглядывал ласковой солнечный луч. Весенний аромат цветов и молодой листвы, пригретых солнцем, опьянял и кружил голову. В саду за окном щебетали птицы. И война куда-то отдалилась. Все заботы и тревоги отступили была ее нежная улыбка, были ласковые руки, прикосновение которых радовало, была она, несравненная, желанная, единственная! Казалось, я знал ее всегда, вечно, только давно не видел, а сейчас радовался встрече. Мою грудь переполняло чувство нежности и любви. Мне так хотелось встать и обнять ее, прижать крепко и говорить ласковые слова, да гладить пышные черные волосы. Я волновался и молчал. Нет, не раны мешали говорить. Я стеснялся, а точнее боялся высказать, даже показать свои чувства, только смотрел и смотрел на нее. Вы верите, что без слов, глазами можно говорить и понимать что хотят сказать в ответ? Уверяю вас, можно с самым близким человеком, который разделяет ваши чувства и как цветок к солнцу, тянется к вам. Марьянка тревожно и умоляюще вскидывала большие круглые глаза и, казалось, говорила ими: «Смотри, смотри так же ласково и нежно!.. Я понимаю, чувствую...верю!..» А мои отвечали: «Милая...хорошая...солнышко мое!.. Радость моя!.. Как я люблю тебя!..»

Моя рука коснулась ее щеки, мягких шелковистых волос, обвилась вокруг шеи и осторожно привлекла ее голову к себе. Она не сопротивлялась, только напряглась от застенчивости и нерешительности. Меня словно током пронзило. То она губами коснулась моей щеки, губ так, слегка, будто и не было поцелуя вовсе, только наши уста соприкоснулись и словно обожглись –

разомкнулись. Того было достаточно, чтоб я потерял все ощущения. Сердце колотилось, готовое вырваться из груди, пело звонкую песню радости и любви. Мне не объяснить, что я чувствовал в этот миг. Было так хорошо! Я хотел сказать ей о своем чувстве, хотел знать что в ее сердце. А она высвободилась из моих объятий, прикрыла мой рот пальчиками и тихо промолвила:

– Молчи, молчи! Не надо слов. Все хорошо, Мьиша!..

Михаил Семенович посмотрел на меня, скрывая неловкость, и отвернулся к окну. Парень с девушкой перестали смеяться, приумолкли. Прислушивались. Девушка ухватилась за руку парня, как замороженная смотрела на рассказчика, попутчик ее – то на меня, то на Михаила Семеновича, как будто только что увидел нас. Даже пожилая соседка отвернулась от своих собеседниц, поджав губы, всем видом выражала недоверие к рассказу и осуждение, должно быть рассуждала про себя: «Вот, старый, о чем вспоминает, постеснялся бы молодых». А может думала о другом. Не спросишь, но любопытство скрыть не могла и ждала продолжения рассказа. А Михаил Семенович повернулся ко мне и с обидой вымолвил:

– Смеетесь?!

– Я смеюсь? С чего вы взяли? – недоумевая спросил я.

– Оно и верно смешно. Можно сказать глупо. До старости дожил, о чем вспомнил? Конечно смешно! – Он махнул рукой, пристыжено опустил голову, помолчал, потом тихо, но со злом в голосе не глядя на меня продолжил:

– Вы хотели знать о фронтовой жизни, так знайте, у каждого солдата она своя была, неповторимая. К победе каждый шел через себя, через свои думы горести и печали, заботы и планы, через свои чувства. У всех была ненависть к врагу, был страх. Была любовь к оставшимся в тылу родным, невестам, женам. Они носили и множили ее в мыслях и умирали с ней. Другие на фронте встречали свою судьбу. Правда, это редко было, но было. О, да что там говорить! Война ломала, калечила людские судьбы, если не отнимала жизнь. А тоска как глодала? – Он нахмурился и замолчал.

– Что вы, Михаил Семенович! Не сердитесь. Я понимаю, все это так. Но доскажите как закончилась встреча с девушкой из Братиславы? Очень интересно. – Молодые соседи готовы были присоединиться к моей просьбе, но не смели вмешиваться в наш разговор.

– Закончилась? – переспросил он. – Не скоро все закончилось. Это длинная история, да вспоминать о ней не легко.

– Так ведь начали, Михаил Семенович...

– Начал... Будто кто-то за язык тянул. Я же говорю, что долго рассказывать, да и потом...

– А вы короче. Самое интересное, пожалуйста! – Насмелилась и, смущая, обратилась сидящая с парнем девушка. Сказала и опустила глаза. Лицо слегка зарделось. Михаил Семенович посмотрел на нее, усмехнулся каким-то своим мыслям.

– Марьянка рассказывала, что после взрыва гранаты они боялись выходить на улицу, думали, что немцы все еще во дворе, или где-то рядом. А потом дед выглянул в окно и увидел солдата – меня, значит, – лежащего неподвижно недалеко от входа в дом.

– Марьянка, посмотри, кто там? – взволнованно шепотом обратился он, показывая в окно. Она подошла и посмотрела.

– Солдат. Русский! Наверное убитый

– Надо посмотреть. А вдруг еще живой, только раненый. Посмотри, внучка. Только осторожно. Подожди, я сам, – засуетился дед.

– Нет, нет! – воспротивилась Марьянка, подошла к двери, приоткрыла ее, выглянула, прислушиваясь. Оглядываясь по сторонам, она несмело вошла на крыльцо, спустилась с него, и, осторожно ступая, словно боясь потревожить, подошла ко мне. Она потом говорила, что я лежал неподвижно, гимнастерка и брюки пропитались кровью, что ей было очень страшно. Колотила дрожь, пальцы рук похолодели, ноги одеревенели отказывались гнуться, но пересилив страх, склонилась надо мной.

Как ей удалось заметить признаки жизни во мне? Я не знаю. Она говорила, что в это время кругом стояла мертвая тишина. Даже листочки на деревьях не шелестели в застывшем воздухе, птицы умолкли, словно прислушиваясь к тишине. Только иногда где-то вдалеке глухо потрескивали автоматные очереди. Обостренный страхом и тишиной слух уловил мое слабое и прерывистое дыхание, а может едва заметное движение.

– Живой! – прошептала она, обрывая страх при виде окровавленной одежды, и стала звать деда.

Вдвоем они кое-как внесли меня в дом. Я и сейчас удивляюсь, как могли молоденькая, тоненькая девушка и старик сделать это? Ведь надо было поднять на крыльцо. Они и перевязали меня.

– Ну а немцы? – стора от любопытства, спросил парень, когда Михаил Семенович сделал паузу, чтоб передохнуть и собраться с мыслями, или вспомнить какие-то подробности.

– Что немцы? – он повернулся к спрашивающему.

– Куда девались немцы, которые бросили гранату? – допытывался парень. Он отмахнулся от девушки, которая пыталась что-то сказать ему, и ждал что ответит Михаил Семенович.

– Немцы?.. Из соседей кто-то подсмотрел и рассказал деду, что двое выскочили после взрыва и побежали. Меня посчитали убитым. Некогда было рассматривать, спешили. А я лежал без сознания полуживой и истекал кровью. Еще час-другой без перевязки – конец бы был. Отдал бы богу душу.

– А как в санчасть попали? – спросил я.

– Да опять же дед. Он остановил санитарную машину и рассказал о раненом красноармейце.

До санчасти провожала Марьянка. Не хотела отставать, даже поссорилась с санитарями. Пришлось мне просить их. Едва согласились. Привезли меня не в медсанбат. Он или не развертывался, или уже снялся и передвинулся

вслед за наступающими войсками, а в эвакогоспиталь, разместившийся в большом доме недалеко от вокзала.

Меня еще не успели в палату определить, а Марьянка у всех начальников побывала. Просила, чтоб приняли на работу в госпиталь. Хотела быть около меня. Ей отказали. Добивалась, чтоб разрешили хотя бы навещать меня – и это не позволили. Она всем надоедала, спрашивая: «Как Мьиша Королев? Скажите, ему плохо?» Русские и словацкие слова вперемежку торопливо срывались с ее языка. Она настойчиво осаждала всех. Просила, плакала и вновь просила. Как сторож часами сидела у входа.

– А вы ждали ее? – спросил парень.

– Конечно, ждал. Только на что я мог надеяться? Я не знал тогда, что она так хотела быть около меня и добивалась этого. Мне сделали операцию. Она была сложная, тяжелая и не последняя. Пока по госпиталям валялся, шесть раз оперировали. Всю ногу изрезали. Не раз хотели ампутировать.

После той, первой я почувствовал себя лучше на какое-то время. Жду и не жду ее. Какое-то раздвоение в мыслях, а сердце ноет, в ушах звучат ее нежные слова, будто наяву вижу ласковые зовущие глаза... а тут в палату вошел начальник госпиталя подполковник медицинской службы Савельев. Его раненые уважали. Врач он был хороший. Порядок любил. Персонал побаивался его. Он редко повышал голос, но все приказания его выполнялись быстро и четко. Он был один без сопровождающих, наверное, шел мимо и зашел, а может специально.

– Кто из вас Королев? – спросил он, оглядывая палату.

– Я красноармеец Королев, - приподнимая голову от подушки, ответил я.

– Лежи, лежи, – рукой предупредил он мои движения. – Там из-за тебя словацкая девушка слезы льет. Чем ты околдовал ее? Она штурмом госпиталь брать готова, чтоб прорваться к тебе. У нас такого еще не было. – Говорил подполковник весело и как-то двусмысленно, подмигивая раненым, а они натянуто улыбались. «Почему он оскорбительно думает о Марьянке? Какое он на это имеет право? Что он знает о наших отношениях?» такой обидой резануло, даже зло закипело, забурлило, что я ответил еле сдерживаясь:

– Ранами, чем же еще?!

Он как будто понял мое настроение и чтоб сгладить неловкость, продолжал:

– Ну-ну! Выше голову, солдат! Девушку твою будут пропускать. Я распорядился уж очень она просила. Смотри не обижай ее. – сказал просто, приветливо, даже дружески. Мне стало стыдно за грубость.

– Спасибо!.. Благодарю, товарищ подполковник!.. Я заикался от волнения и радости, а он, махнув рукой, направился к двери, взявшись за скобу, приостановился, спросил есть ли жалобы. Слышал единодушное «нет», еще посмотрел в мою сторону, улыбка тронула его утомленное лицо, и он вышел.

Я все же ждал ее. А сам думал: «Ну и что, что разрешил. Зачем она придет? Из жалости, сострадания? Да и придет ли? Кто я ей?»

Переживал, волновался, гнал эти мысли и с надеждой, с замирающим сердцем глядел на дверь, если по коридору приближались шаги, или слышались приглушенные голоса. Видеть ее хотелось очень, а сомнения мучили. Душевная боль хуже физической. Вот уж точно. Проверено.

Марьянка пришла на третий день после операции. Я уж не ждал, только страдал. Дверь палаты тихонько отворилась, и она боком, несмело ступая и пугливо как птичка-синичка оглядываясь по сторонам, вошла. На ее узеньких накинут белый халатик, в руках маленький сверток. Прижав его к груди, она в нерешительности приостановилась.

Все, кто был в палате, молча смотрели на нее. А она застенчиво улыбалась, кивая всем по очереди головой, словно извиняясь за незваное вторжение. В этих кивках было что-то стыдливое, нерешительное, но неотвратимое. Марьянка увидела меня и покраснела до кончиков ушей, до корней волос, сделала шаг, еще раз оглянулась на раненых, и, теребя пальцами сверток, приблизилась. Казалось, что ее одновременно что-то толкало и удерживало, а она сопротивлялась и рвалась.

– Марьяночка! Ты пришла!.. Как я рад, что ты пришла! – шептал я. Сердце учащенно колотилось, волнение сжимало грудь, стесняло дыхание, глаза затуманило. Радость была безграничной, а счастье – безмерным. Она подошла, положила сверток на тумбочку, а сама все смотрела и смотрела на меня.

– К тебе не пускали, Мьиша... говорили нельзя... операция... Она улыбалась, а слезинки застряли в глазах и поблескивали. Я здоровой рукой взял ее руку и тихонько сжал пальцы. Все, что нас окружало: палата, раненые, врачи, город, война куда-то исчезло. Мир сузился. Были она и я, да еще наши чувства. Мы глядели друг на друга, говорили и говорили все, что можно сказать самое ласковое, самое нежное...

...Через три недели меня отправляли в Советский Союз. Расставание наше было тяжелым. Марьянку силой оторвали от носилок. Она так убивалась в горьком плаче, что санитары и сестры, глядя на наше прощание, вытирали слезы. Я готов был сорваться с носилок и проклинал свою беспомощность...

– А вы не пытались переписываться или встретиться после войны? – спросил я, взволнованный рассказом старого солдата.

Михаил Семенович усмехнулся, а потом грустно со вздохом ответил:

– А как было пытаться? То время было трудное, да и не все понятно было. Радость победы и разруха – это понятно. Слава героям-победителям – тоже. А подозрительность ко всем тем, кто был в окружении или, того хуже, в плену? Разве их вина была в этом? Их анкеты руки жгли кадровикам. Им не доверяли. Куда бы я со своей любовью обратился? Заграничная ведь она была. Да и надо было лечиться, потом учеба, работа.

– Но ведь вы любили! Вы еще не забыли ее! – Он помолчал, грустно усмехнулся.

– Конечно, в годы звонкой молодости любовь бывает особенно страстной и нежной, да и преданной, наверное. Даже если перешагнешь через нее, в

сердце останется глубокая рана. И хотя покроется она со временем рубцами, все равно нет-нет да и занает. Оно помнит.

Михаил Семенович замолчал, тяжело вздохнул и посмотрел в окно. Мелькнула будка у переезда, желтое пятно дежурной, побежали расхожие железные пути станции...

Девушка прижалась к парню, пожилая женщина вздыхала, часто моргала и концом платка вытирала глаза. И мне стало грустно. Рубцы от ран на теле и в душе, какие из них более живучи в памяти людей? Какие беспокоят чаще и больнее? Разгладит ли их время?

Проплыли за окном пристанционные постройки. Электричка сбавила скорость, остановилась. Михаил Семенович поднялся, попрощался, забрал свой чемоданчик и, прихрамывая, направился к выходу...

Ноябрь, 1987 г.

Составитель: Галичина К. Ю., библиограф